



ДШУАРЫ

Дарья Гребенщикова
«Дорога домой»
Рассказы

0111 MAR

Дарья Гребенщикова

Дашуары

«Издательские решения»

Гребенщикова Д.

Дашуары / Д. Гребенщикова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-933605-7

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Хотите побывать в гостях в настоящей русской
деревне? Насладиться чаем с клубничным вареньем, махнуть рюмку-другую
деревенского, чистого как слеза, самогона? И, конечно же, послушать
совершенно дивные Дашины рассказы? — читайте эту книгу и вы всё это и во
много-много раз больше, получите у себя дома!

ISBN 978-5-44-933605-7

© Гребенщикова Д.
© Издательские решения

Содержание

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ	7
ЛЁВА И ЛИЗКА (МАЙСКИЙ СНЕГ)	7
АЭРОПОРТ	10
ВЕРНАЦЦА	11
РЕЗО, ЛЕРОЧКА И НАТАША	14
ЛЮБОВЬ К ОПЕРЕ	15
АНДРЕЙ И ЛЮДОЧКА	17
ШУРОЧКА, ДИМКА И ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ	18
РИТКА И СОНЕЧКА	20
ПРОВИНЦИЯ	21
РЕПЕТИЦИЯ	23
ГАСТРОЛИ	25
СКРИПАЧ	26
ВИТАЛИК И ИРОЧКА	27
ТАНЦОВЩИЦА	28
БЭЛЛОЧКА	29
ПОЛИНА	30
ТАЯ	31
БРОНЬ	32
АСЯ	33
ВЕРА АРКАДЬЕВНА КОЛЬЦОВА	34
КОСТЮМЕРШИ	35
ОСВЕТИТЕЛЬ	36
АЛЛА И СВЕКРОВЬ	37
ЧИСТАЯ ДЕВОЧКА	38
ПУСТЫРЬ	39
АНЖЕЛА	40
НИКИТИН И ЭЛЕЧКА	41
МОЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЮБОВЬ...	43
ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ	44
МАРТ	45
28 ЛЕТ СПУСТЯ	46
ГАЛОЧКА	47
ВИЗИТ НА РОДИНУ	49
ТИНОЧКА И ЛИНОЧКА	50
САНАТОРИЙ	51
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ	52
ЛИЗА И ИГНАТ	53
КИРИЛЛ И ВАРЯ	54
ТАКАЯ СТРАННАЯ СУДЬБА	55
ЖЕНЬКА И ОЛЕГ	57
ВИКА И ВИТАЛИК	58
ЧИСТАЯ ДЕВОЧКА	59
ПЕРСИК	60
ИГОРЬ И НАТАША	61
МАЙ	62

АНЯ И НИКИТА	63
ЛЮБОВЬ БЫВАЕТ РАЗНАЯ	64
ПЕТРОВ И ТЁЩА	66
ДИАЛОГИ ПО ТЕЛЕФОНУ	67
ПРОШЕЛ ГОД, 21 СЕНТЯБРЯ, КВАРТИРА СТЕМПНЕВСКИХ	68
УИК-ЭНД	69
В ВАГОНЕ МЕТРО	71
ЧУЖИЕ ОКНА	72
МАТЬ	73
АЛЕВТИНА	74
СТАСИК И МАРИНКА	76
ЛЕТО	78
ДОХА	79
НАСТЯ	80
ИРЭН	81
СТИВИДОР	82
ПУСТЫРЬ	84
ФОКС	85
СЕТТЕР	86
КОТЁНОК	87
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ	90
ТОРОПЕЦ	90
НА БАЗАРЕ	91
АПТЕКА	92
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Дашуары

Дарья Гребенщикова

Иллюстратор Марина Дайковская

Редактор Вадим Сиротенко

© Дарья Гребенщикова, 2018

© Марина Дайковская, иллюстрации, 2018

ISBN 978-5-4493-3605-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

ЛЁВА И ЛИЗКА (МАЙСКИЙ СНЕГ)

Лёва, рыжеватый, веснушчатый, полненький здоровой полнотой от заботы и вкусной еды, любил Лизку. Соседку. Стерву. Троечницу. Нелепо длинную, нескладную, тощую. Глаза у Лизки были цвета настроения. Или – погоды. Или – неба. Были злые или жалостливые. Лизка была заморышем каким-то, говорливая, выдумщица отчаянная, заводила и вообще – просто прелесть. Она была старше Лёвы на два года, что в молодости равно – эпохе. Лизка жила на пятом этаже, а Лёва – на четвертом. С этого-то все и началось. Когда Лизка скатывалась по перилам, она успевала хлопнуть портфелем степенно идущего с бабушкой Леву. Бабушка грозила Лизке палкой с резиновым наконечником, а Лизка хохотала во все горло, бежала до школы вприпрыжку, теряя на ходу аптечные резинки, которыми были стянуты косички и мешок со сменной обувью.

С 5 класса Лева стал ухаживать за Лизкой всерьез. Вся школа покатывалась со смеху, выпадала из окон, писала мелом $L+L=?$, но Лёву ничего не останавливало. Лизка портфель носить ему не доверяла, но плестись сзади – позволяла. Дома же – наоборот. Лизка обедала у Левы, потому что мама у Лизки была непутевая, а папы не было, а у Левы мама Рива Марковна была зав. литом театра им. Некрасова, а папа, Семен Наумович, преподавал начертательную геометрию в Бауманке. Бабушка была старой партейкой и потому была приставлена ко внуку и к столу заказов. Горштейны Лизку обожали. Мама прощала ей все, и уже видела счастливый брачный союз, и – главное, плод этого союза – розовую, упитанную внучку Сонечку, которая будет – ах! одно лицо с её папой Марком.

А пока Лизка уплетала паштеты, рыбу в маринаде и легчайшие безе с орешками. Лёва писал Лизе все контрольные и домашние задания, а Лизка, усевшись на перила балкона и свесив ноги, пересказывала Лёве свою интерпретацию русской классической литературы.

Лёва таскался за Лизкой, как приклеенный. Лизка любила кино про любовь, а Лёва водил ее в музей. В музее Лиза зевала и рассматривала «красивые платяица».

После школы мама Рива сделала невозможное, и Лизку «поступили» в театральное училище. Лёва еще кусал ручку, заполняя бисерным почерком работы на математических Олимпиадах, а Лизка уже играла отрывки и влюбляла в себя всех, кто попадал в ее поле зрения. В театральном она расцвела чрезвычайно, сменила прическу, перестала носить блескучее и дешевое и превратилась в стильную, длинноногую, красивую и самоуверенную. Лева, надевший к этому времени очки, обмирал от восторга и ужаса и любил Лизку, как ненормальный. Вечерами они сидели на ее балконе, и Лизка курила и рассказывала о том, как в нее влюбился такой-то, такой-то и еще два таких-то. Лева шурился от дыма, страдал и даже как-то напился водки.

Когда Лева поступил на мехмат МГУ, Лизка влюбилась. Точнее так – она просто сошла с ума. Сокурсник, вертлявый, циничный, больше похожий на циркового, чем на театрального артиста, балагур и редкая сволочь, просто переспал с Лизкой на вечеринке, и – забыл. Она звонила ему, стояла под окнами часами, писала письма – а он избегал ее. В ту проклятую ночь Лева сидел на краешке дивана, а Лизка металась по комнате, круша все, что попадало под руку. Глаза ее были страшны, а зрачки – как сгустки крови. Я беременна, орала она, понимаешь? А он даже не дает мне сказать об этом, понимаешь? Я люблю его, я с собой покончу. Все это было так страшно, что Лёва даже не смел сказать – не нужно, оставь все, я буду отцом ребенку, мы поженимся, Лиза, Лиза моя...

Лёва же и проводил ее в больницу, ноябрьским утром, когда дождь мешался со снегом и не было возможности жить. Лизка тряслась, облизывала губы и непрестанно плакала. Лёва сидел в холле, держа на руках ее пальто и закрывал уши руками – ему казалось, что он слышит Лизин крик.

После больницы Лизка бросила театральный, точнее – она всё бросила. Она лежала на диване, смотрела в потолок и молчала. Лёва завалил сессию, но сидел рядом, не отходя от нее. Он терпел ее молчаливую ненависть, терпел то, что он не похож на красавчика-сокурсника, он терпел её боль и любил ее еще сильнее. Лёвина бабушка варила бульоны, ходила на рынок за телячьей печенью и гранатами. Лизка начала пить. От вина ей становилось легче, она засыпала, и беспокойство потихоньку уходило из нее. Она уже даже шутила с Лёвой, звала его, как и раньше, «пончиком», а как-то он, зайдя к ней, обнаружил, что она болтает по телефону. Жизнь медленно возвращалась в нее, и она легко согласилась поехать с Левой в Репино, и они гуляли по Приморскому шоссе, махали финнам, едущим в Питер в смешных прицепных домиках и пили кофе в гостинице. В Москву она вернулась уже почти спокойной, и даже посмотрела нашумевший фильм с ее «бывшим».

Грянуло осенью. Папа давно хотел уехать, мама хотела, но боялась, а бабушка была против. Но разрешение было получено, и отъезд в Израиль стал делом решенным. Левка, перепрыгивая через ступеньки, позвонил в лизину дверь, обнял Лизу, заспанную, в немыслимом кимоно и сказал – все! Пошли подавать заявление! мы едем! куда это МЫ едем? спросила Лизка. В Израиль, смутившись, сказал Лёвка, ты же знала? Ты всегда – знала?! Я никуда не поеду, Лиза повернулась и пошла на кухню. Что я там забыла? Мне туда – на фиг?

Еще несколько месяцев они ежедневно говорили об отъезде. Говорила и мама. Говорил и папа. Даже Лизкина мать сказала – езжай. С Левой можно куда хочешь. А в Израиле еще и апельсины.

В самую последнюю ночь они не спали, а сидели на диване, друг напротив друга – соприкасаясь коленками. Света не зажигали, говорили и курили в темноте. Когда стало рассветать, Лёва опять увидел измученные лизкины глаза, темные, под тяжелыми горестными веками, увидел ее рот, так странно искривившийся в плаче, ее тонкие пальцы, которыми она постоянно терла затылок, будто желая избавиться от головной боли. С каждым часом прибывал свет, и стало видно, как царапает окно цветущая ветка старой яблони. И вдруг стало совсем светло. Пошел снег. Была середина мая, а снег все шел и шел, и они вышли на балкон, и Лизка подняла лицо к небу и стала совсем прозрачной, тающей на свету. Лёва обнял ее, стиснул ее плечи, зарылся лицом в затылок. Она стала его первой женщиной. Это было так странно, в этой мягкой, падающей с неба белизне, а Лева, сумасшедший от счастья, все гладил и гладил ее живот, как будто открывал для себя великую тайну жизни.

они расстались. Ей был 21 год, ему – 19. Он окончит Технион в Хайфе, станет выдающимся математиком, женится, станет счастливым отцом троих детей. Бабушка доживет до 94 лет и будет похоронена с почестями, как и хотела – на Родине. Мама будет преподавать в театральном, а отец – там же, в Технионе.

Лизка встретит Лёву в Музее Рокфеллера. Лизка, в темных очках и в белом казакине, с короткой стрижкой, совсем юная, с серебряными браслетами на запястьях, ткнется в Лёвкин затылок. Как в детстве. И будет долгая прогулка по ночному Иерусалиму, и бесконечные вопросы и ответы, и Лева все будет стесняться спросить, кто этот парень с ней, в линялых джинсах, который так похож на Лизку этими разноцветными глазами? Лизка, перед отлетом в Москву обнимет Леву, прикусив мочку уха, скажет – не твой, не выдумывай и не морочь себе голову. Он не поверит ей, и простоит час перед пустым небом аэропорта, в которое улетит её лайнер.

В самолете о том же спросит ее сын, и она отшутится – неужели ты не видишь? Он ужасно смешной, толстый и рыжий. А сын скажет, мам, а что такое дежа вю? И она объяснит, а сын

опять скажет – мам, а почему я все время вижу какую-то ветку с цветами, на которую падает и падает снег?

АЭРОПОРТ

он буквально налетел на неё в аэропорту Бен-Гуриона, сшиб с ног, извинился, приподнял невидимую шляпу, узнал, ахнул и сгреб в охапку – все в одно мгновение. Перед ней был Венька, тот самый, из-за которого она в дальнем 89-м резала вены, пила седуксен с водкой, а, пробыв должный срок в Клинике неврозов, не говорила почти год. Он остался прежним, только как-то неумовимо стал чужим, неотличимо чужим, по запаху, жесту ухоженных рук, манере снимать очки. Говорил с легким акцентом, то ли он оттуда – сюда, то ли – наоборот. Ленка же, к его удивлению, которое она почувствовала кожей – стала лучше, выше классом, что ли. Он держал ее руки в своих и медленно раскачивался – с мыска на каблук, и молчал. Их обтекала обычная толпа, табло захлебывалось рейсами, кричали дети, кто-то плакал, взлетали и садились самолеты. А они все стояли, стояли и молчали, и думали об одном – о той ночи в его квартире на Алабяна, 23 июля 1989 года, в прошлом столетии, когда он так же раскачивался на табуретке и кричал – «ты пойми! я не могу! я не могу взять тебя с собой! меня – не поймут! ты понимаешь – не поймут!», а она все теребила плетеный шнурочек с подвешенным на него куриным божком из Сердоликовой бухты и гладила свой живот, будто пытаясь успокоить себя и того, кому так и не суждено будет родиться.

Резко выдернув свою руку, она развернулась и почти побежала – от него, а он, оставшись стоять, все подносил ладони к лицу, то ли пряча глаза, то ли желая сохранить её запах.

ВЕРНАЦЦА

мамин брат, летчик на международных авиалиниях, высокий, сероглазый красавец в синей лётной форме, подарил маленькой Наташке, вместе с шоколадками, жвачкой и фло-мастерами, журнал «Alitália». Наташка, рассмотрев скучные аккуратные заводы, кукольные виноградники, фото неизвестных ей артистов, наткнулась на фотографию городка у моря. Снято было сверху, с горы – и весь крошечный городок помещался на ладошке, внутри него был залив, а за молом – море. Итальянское море. Нездешнее. Оно было сапфировым у горизонта, и бирюзовым – у каменной гряды. Разноцветные домики сидели так близко, будто кто-то, жалея место, строил их один – на другом. А чтобы не потерять – красил в разные цвета. Бриз шевелил белые с красным зонтики, а лодки качались в бухте.

Наташка вырвала фотографию, обрезала ее ножницами и прикрепила к стене, на булавках и пионерском значке.

Фотография висела. Наташка, просыпаясь – сразу шла по этому веселому городку, и встречала раннее, нежаркое еще солнце, и шлепала босыми ступнями по камням, по которым ходили еще гладиаторы, или Александр Македонский. Или – все вместе. Она всегда купалась в одной и той же бухте, и плыла – навстречу дню, парусам и радости.

Увы, жизнь оказалась скучной, как бетонные стены спального района. В перестройку про институт пришлось забыть, потом заболел и умер отец, Наташка осталась с мамой, обе бедствовали. Дядю сократили, он спился, и теперь уже Наташка носила ему банки с бульоном и дешевые сигареты.

Всю эту жизнь она могла перенести только ради одного – ради итальянского городка, тихой лагуны и белых занавесок, рвущихся из окна, пахнущих морем и чужой любовью. Наташка откладывала деньги, но дефолт, или непредвиденные обстоятельства сжирали все, оставляя ее с одним – с надеждой. Она шла к своей мечте, отказывая себе во всем, она выходила из заплеванного подъезда и шла на берег моря, и смотрела на спинки дельфинов, плывущих на горизонте. Она знала про этот городок – все. Вернацца... Чинкве-Терре... Лигурия... все путеводители были прочитаны. Но они только мешали ощущать запах йода и песка, слышать песню, которую поет на площади загорелый парень – в старой соломенной шляпе...

Когда она собрала столько, что ей хватило бы на неделю в Вернацца, да еще на роскошный день в Риме, она пошла в турагентство. Скучала девица над компьютером, парень трепался по сотовому и крутил пальцем сувенирный глобус. Ей никто не заинтересовался. Девица сразу определила – однушка в Бирюлево, машины нет, не замужем, работа с подработкой – не клиента... Наташа, не слыша саму себя, сказала – мне нужен тур в Италию. В Вернацца.

– и что, Вас больше НИЧЕГО не устроит? – девица ковыряла клавиатуру. – вообще... Вы в курсе?

И дальше – что это недешево, и дорогая страховка, и перелет, и вообще... – Ром, – окликнула она крутившего глобус, – предложи девушке что-то реальное, – и отвернулась.

Наташа, которая уже шла по ступенькам к морю – споткнулась и растерялась. Она уже – долетела, как они этого не понимают?

– давайте Вас в Таиланд, идет? – Рома зевнул в телефон, – там горящий тур, ага? Зачем Вам эта Италия? А Таиланд!

Наташа, как сомнамбула, протянула деньги.

В день отлета группы она лежала дома, и смотрела – как волны перекачиваются через мол Вернаццы. Парень, игравший на гитаре, замолчал, вынул из-за уха цветок и бросил ей.

Жить надо, особенно, если тебе 31 год и жить не хочется. Наташка встала – и пошла. Потому, что море – вечно, и солнце, освещавшее пыльные окна квартирки на улице Бирюлев-

ская, освещало и стаканы на стойке бара в трагтории Вернаццы. Иногда Судьба, изумляясь такому упорству, меняет свой план – и все складывается. Иначе.

Наташка попала в фирму, торгующую винами, и в ее доме появился Иштван Эчеди. Венгр, от которого вся женская часть, включая унылую уборщицу, лежала в глубоком нокауте. Почему Иштван выбрал ее, никто не знал, а Наташка не задумывалась. До озера Балатон, они, правда так и не добрались – фирма разорилась, Иштван исчез, зато Наташка, к своему изумлению, родила красивую девочку. На новорожденную ходили смотреть все – от врачей до нянек.

Наташка назвала дочь Верой – разумеется, от ВЕРнацца, дала папино отчество и мамину фамилию. Как бы создала себе – сестру, но со счастливой перспективой. Вера Александровна Римская.

Вера росла ангельским созданием, что лишний раз подтвердило справедливость предыдущих испытаний. Вид Вернаццы со стены не исчез, но поистрепался изрядно. Маленькая Вера, начав раскрашивать фломастерами обои, добралась и до залива, в котором появилась двенадцатицветная рябь. Пластинин добавил жирных пятен на скатерть трагтории, а ножницы – отрезали пару яхт и элероны.

Но картинка была жива... По ней Вера училась читать, рисовать и мечтать. Первое её слово было не «дай», как положено, а сказанное в два слога – вел-наса. Многочисленные сестры куклы Барби, отданные подружками, у которых выросли девчонки, говорили между собой о море, и ели пиццу, вырезанную из рекламы.

Засыпая под сборники итальянской эстрады, Вера видела красивые сны, яркие, как ягоды клубники на даче. Как-то на день рождения Вере, уже десятилетней, подарили коробку паззлов. Судьба улыбнулась еще раз. Это была Вернацца. Целый месяц мать и дочь, выгородив место на полу, собирали воедино лигурийский городок, и вот уже было понятно, где какие ставни, а где белье сохнет на балкончике, а где машет рукой приветливая полная брюнетка, а где... и тот парень – в шляпе, он тоже был там – играл на гитаре. Только шляпа его была – без цветка...

Наташа работала, Вера училась. Наташа работала, Вера росла. Наташа работала, а Вера поступила в институт. Удивительно, но все то, что с таким трудом отбивала у жизни Наташа, Вера получала просто – по взмаху ресниц. Ресницы были сумасшедшие. На спор в школе выдерживали три спички... смуглая от венгерского папы, темноволосая Вера обладала еще дивным льдистым цветом радужки – и черным зрачком, что делало взгляд призывным и глубоким. Неудивительно, что на 1 курсе она вышла замуж, и не за студента, а за человека богатого настолько, что было неважно – кем он работал, и работал ли вообще.

Илья был представлен маме походя – перед отлетом в Европу, в свадебный тур. Наташа стыдливо видела их бирюлевскую квартирку чужими глазами и прятала руки без колец и маникюра.

Без дочери квартира странно расширилась, пришла в порядок и застыла. Потом появилась тоска, зашевелилось одиночество по углам. Вера с Ильей появились вечером, без звонка, сумасшедшие, счастливые, просоленные, загорелые, совершенно иностранные, – как сказала себе Наташа. Хохоча, они вываливали на столик кухоньки продукты, названия которых Наташа не знала, Илья разливал по бокалам вино, Вера все открывала какие-то коробки и пакеты – прикидывала на обалдевшую Наташу разноцветные тряпочки, невесомые платки, какую-то воздушную бижутерию... У Наташи кружилась голова, она не понимала – радоваться? ругаться – зачем столько денег впустую? Спросить – что дальше?

Вечер стих с фонарями, Вера засобиралась – домой, в другую жизнь, где не бывает проблем, разве так – мелочи. На пороге, она вдруг хлопнула себя по лбу

– Илюш! ну?

– так... – Илья помялся, – на день рождения же хотели?

– ааа... ждать еще... давай сразу?

– как хочешь, ..., – Илья полез во внутренний карман куртки и достал пакет, – вот. Наталья Александровна – Вам. От нас...

– что это? – Наташа вертела голубоватый тяжелый конверт, – что?

– мам! – Вера чмокнула Наташу в щеку, – Илюха тебе в твоей Вернацце домик снял – вон тот. с зелеными ставенками! – Вера помахала рукой. – тут все, билеты там, страховки, вся фигня...

– ну... а как же? а что? Вера? Илья? да что же... – Наташа махала конвертом, не в силах говорить, – как же?

– ой, мам, – Вера уже отпихивала Илью, целовавшего ее ладонь. – мы еще это забыли... а! вот! мам. я беременна!

Не разбирая на ночь дивана, сидела Наташа и глядела на пазл своей Вернаццы, на розовый домик с зелеными ставнями. Парень, игравший на гитаре, вдруг поднялся, подмигнул Наташе, снял шляпу, помахал ею, будто подметая площадь, и пошел вверх – к башне Bastione Belforte.

РЕЗО, ЛЕРОЧКА И НАТАША

Резо Гарпуния любил двух женщин сразу. Старшую жену Наталью Викторовну и новую, Лерочку. Прожив пару лет в состоянии душевного компромисса, Резо стиснул зубы и ушел к Лерочке.

Старшая жена прошла с Резо стройки комсомола, вырастила двоих сыновей, Илью и Гешу, отдала ему лучшие годы жизни, что в итоге обернулось приступами гипертонии, несварением желудка и пяточной шпорой. Наташа готовила грузинскую кухню так, что даже мама Резо сказала – ах! а отец подарил ей кама – клинок в ножнах, украшенный чернью и позолотой.

Наташа за 20 лет совмещенной с Резо жизни приняла в гости треть солнечной Грузии, а сама выехала в родной аул предков Резо один раз, изумилась габаритам местных баранов, и так пристрастилась к хорошим винам, что Резо пришлось похищать ее, как невесту. В пыльном вагоне поезда Тбилиси-Москва.

Наташа знала четыре языка, пела под аккордеон, вышивала крестиком картины Моне, и имела достойный объем везде – везде, куда доставала жаркая рука Резо.

У Леры не было ничего, кроме её 19 лет, города Уссурийска за спиной и пылкой натуры. Лера тут же накачала губы, отчего стала похожа на недоумевающую утку и купила персидского кота. На этом деньги кончились. Резо в женихи не годился, но надо же с чего-то начинать? Именно так и сказала Лерина мама, привезя на свадьбу подтухшую тушку длинной рыбы с носом.

Лерочка почему-то не хотела работать, рожать детей и мыть посуду, поэтому на первых порах Резо пришлось туго. Грузинские родственники, взбаламученные, с одной стороны, потерей гостеприимного гнезда с сидящей в нем Наташей, а с другой, мужской, стороны объятые желанием заключить Лерочку в пылкие родственные объятия, совещались. Только мама сказала – ара! Цуад! и надела еще один темный платок...

Резо любил маму, но... как говорят у нас, в деревне – «ночная кукушка дневную перекукует». Хотя Резо произнести поговорку не мог, но ночью... в гнезде своей Лерочки... честь показывала крупный кукиш, колеблющийся в свете розового ночника, а постельное белье «Мадам Помпадур» ласково шелестело искусственным шелком и пускало искры.

И надо же было Резо познакомить своего старшего сына Илью с Лерочкой. Прошел бы мимо, катя свою тележку по супермаркету – нет! Встал, начал расшаркиваться, пунцовел щеками, утирал лысину под кепкой...

Илья с Лерочкой поженились, потому что бабушка сказала – Хо! и сняла лишний платок.

А Наташа приняла неверного мужа в гнездо – изрядно ощипанного, но все еще годного...

ЛЮБОВЬ К ОПЕРЕ

Генриетта Хить, миловидная певичка с хорошим, грудным меццо-сопрано, тонкая в талии и уверенная в бедрах, предпочитавшая индиго джинсовки черному бархату платьев, обнажавших розовые, покатые плечи, родила сына. Беременность настигла ее как раз за разучиванием партии Флоры Бервуа, и сына ждало нелегкое для русского уха имя Джузеппе. В честь Верди. Впрочем, отец ребенка, неизвестный миру композитор-отшельник, сотрясающий подмосковное Кратово мощными аккордами фортепиано, неожиданно воспротивился. Сына назвали Никитой к обоюдному неудовольствию родителей. Мальчик родился такой хорошенький, ладный, смуглый и с ресницами такой длины, что композитор возгордился, сочел себя браком с Генриеттой и ушел писать «обезьяню» музыку для молодежного кинематографа. Разбогатец, бросил Генриетту с сыном и женился на вдове песенника, неумоимо молодящейся особе, стриженной под мальчика. Игры в теннис отвлекли его от разочарований, коими непременно страдают отцы, видя, как растет их чадо, неверно воспитываемое безалаберной матерью.

Генриетта продолжала петь, где только возможно. Она даже бралась аккомпанировать и вести уроки вокала частным порядком. Всему этому чрезвычайно мешал юный Никита с длинными ресницами. К пяти годам он уже научился выжимать из надушенных хористок, заключавших его в тесный круг своими юбками, не только восхищенные «ах, какой прелестный мальчик», но и более существенные дивиденды, как то – шоколадные конфеты, пирожное «Прага», тонко нарезанный, розовый на просвет сервелат, и иногда – даже пиво. К шести годам отпрыск окончательно разнуздан, щипал солисток за окорочные бока или отпарывал крючки с французских застежек. Генриетта, сотрясаясь от рыданий, решила отдать Никиту в школу-интернат для детей одаренных родителей, но, по счастью, подвернулась милейшая Машенька, костюмерша женской половины. Принимая в кулисах на руки широкополую шляпу с отгрызленным молью пером, она прошептала Генриетте – давайте, я присмотрю за мальчиком? И с этого дня Никита поселился в громадной костюмерной оперного театра. На самом верху, почти под крышей, колыхались, сея пыльно-звездчатый дождь, костюмы изумительной красоты. На вешалах, имеющих колесики для удобства движения, юный проказник катался с гиканьем и свистом. Пока чудная, нежная Машенька обдавала водой из пульверизатора кружевные сорочки и пришивала крошечные пуговики к лифу, она – пела. Все, что транслировалось со сцены. Партии мужские и женские. Хоры. Она даже пропевала инструментальные партии! Никита сначала морщился. Потом громко орал, визжал и топал ногами, валился на пол, поднимая вертикальные столбики пыли, подобной серому пуху, а потом – запел вместе с Машей. Чудный детский альт звучал неправдоподобно чисто, как будто взмывая, уносясь под крышу театра.

Генриетта Хить, странствуя по городам, не обозначенным на карте России, была спокойна за сына. Отец давно бы забыл о Никите, если бы не ставшая женою вдова песенника – она, сердобольная и бездетная, щедро помогала нежной крошке. Когда пришла пора школы, Никиту от Маши забрали. На прощание, когда они сидели вдвоем при едва мерцающих лампах дневного света, Маша, стараясь не зарыдать в голос, протянула ему на ладони крошечный брелок-глобус. Глобус был разноцветным, дешевеньким – пластиковый, со вставочками-стразами. Вот, посмотри, – сказала Маша – эти звездочки – города, в которых ты будешь петь! Рим, Париж, Милан, Берлин – и тебе будут аплодировать слушатели и будут кричать – бис! Никита! Но я петь не умею, мальчишка уткнулся в Машин синий халатик. М-а-а-а-а-ша, не отдавай меня, я тебя так люблю...

Машенька все еще работала в театре. И все еще – костюмершей. Она не вышла замуж, не родила ребенка, случайные любви оставляли свои печальные следы на лице, но она по-

прежнему пела, когда отглаживала испачканные гримом кружевные воротнички. В это вечер она смотрела «Травиату» по Культуре. Венский филармонический оркестр, шикарный состав, изумительные декорации – замок, под открытым небом! Публика сидела в парке, вспыхивали огоньки, видно было, как вечерний ветер шевелит кроны дубов. На поклоны выходили все, Маша утирала от глаза – как хорошо, какие голоса, ах... И вдруг – крупным планом – исполнитель роли Альфреда, красавец-тенор подмигнул в камеру, извлек из что-то из кармана жилетки – и на ладони оказался маленький глобус со стразами-звездочками. Альфред послал воздушный поцелуй, сжал ладонь и приложил палец к губам.

АНДРЕЙ И ЛЮДОЧКА

Когда Андрей уезжал на гастроли, Людочка тут же впадала в ожидание, как в анабиоз. Только самолет отрывался в небо, она начинала рыдать и уж рыдала до самого прилёта. Ее вообще было проще оставить в Зале ожидания Аэропорта, потому что дома она не ела, почти не спала, ходила, держа сотовый плечом, а на работе брала выходные дни за свой счет. Она бы и ездила с ним, но в планы Андрея это не входило. Набирала Людочка его номер каждые 15 минут, и каждые 15 минут он трубку не брал. Сам Андрей не звонил – он тренировал Людочку на ослабление частнособственнических инстинктов. И приучал к одному месту – как собаку. Так и сидела Людочка с поводком в зубах и ждала. Сказал бы ей – спать на коврик, спала бы. И тапочки носила бы в зубах.

На гастролях Андрей, малозаметный в Городе, где он играл всегда вторым составом, расцветал. Он играл на заменах, именитые летали на съемки и на корпоративы. Зато уж слава его настигала. Поклонницы прыгали у служебного входа, странные личности с бандитскими рожами приглашали его в рестораны, где он, захмелев, пел для них русский шансон и рассыпал потом по карманам мятые бумажные деньги.

А потом он сломал ногу. И полгода никуда не ездил. Людочка, привыкшая жить в режиме ожидания, растерялась. Она не знала, что делать с Андреем, который лежит дома. Вблизи он оказался скучным, смотрел только триллеры, непременно под пиво, лузгал семечки, и больно щипал пробежавшую мимо Людочку за попу. От лежания он сильно поправился, обрюзг, и вот уже Людочка, сменившая работу, искала повода прийти домой попозже, а то и вовсе – не прийти ночевать. Андрей засыпал у телевизора, прижав плечом сотовый, который говорил механическим голосом «аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети».

ШУРОЧКА, ДИМКА И ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ

Господи! какая же я страшная! говорила Шурочка себе и всем окружающим, и все её поддерживали. Ужас просто, уродина из уродин, и не будет у меня в жизни любви и счастья, вторила она с 14 лет – и все соглашались. Не лицом жить, Шурёнок, успокаивала ее мама, выходя в пятый раз замуж, – что лицо? Сегодня одно, завтра – другое. Ты на кулинарию налегай, и каблуки высокие не забудь. Не на таких женятся, не бойсь! Подруги, которые и в подметки Шурочке не годились, согласно кивали – ох, ну, да, ну да, Сашок, ну ты лапушка такая по характеру, такая прям безотказная, чудо! Парни, которым Шурочка нравилась, стеснялись пригласить её на свидание – друзья засмеют. Так и росла она, и страдала, и пошла работать на завод «Электросила», в заводскую многотиражку. Там как-то позабылись страдания по поводу внешности, но Шурочка с обреченностью тяжело больной отказывала – всем. А как-то приехал из Москвы инженер Вадим Сергеевич, в командировку. И попросил ему показать ночной Ленинград. Без намеков! Просто утром поезд назад, в Москву, уходил. И до того ему город понравился, что результатом этих экскурсий стала Шурочкина беременность. Тут уж Вадим Сергеевич к творчеству Росси-Растрелли охладел и стал больше на Москву налегать, да и командировки иссякли.

Родила Шурочка мальчика, назвала его Митей, ибо другого имени для сына и придумать не могла. «Митя-Митрий, Митя хитрый», повторяла она, качая крошечное тельце, завернутое в голубое атласное одеяльце и душа её пела. Обретя смысл в жизни, Сашенька расцвела до чрезвычайности, и даже мама ее, не желавшая стать бабушкой, отметила это с неприязнью.

Митенька рос, вырастал из ползунков, учился читать, и вот уж и был задан вопрос «мама, а кто мой папа», и Шурочка легко ответила, что папа живет и работает в Америке. Америка и самой Шурочке виделась краем света, а уж Мите – и вовсе. Стоя на широком подоконнике дома на 5-й линии Васильевского острова, он все глядел на улицу, считал машинки и прохожих, а в детском саду серьезно интересовался, как поехать в Америку. Сашенька располнела и стала красива той удивительной русской милотой, которая появляется в женщинах после родов и в удачном замужестве. Митя обожал маму, и они завели кота Дон Кихота и кошку Дусю. На выходные Шурочка и Митя ездили в Парголово, на старую бабушкину дачу и летом варили варенье из крыжовника, который Митя усердно стриг маникюрными ножничками.

Вадим Сергеевич, которому перевалило за 40, решил, наконец, узаконить отношения со своей Женечкой, которой исполнилось 19, и страдая, пялился на монитор, где шли чередой свадебные платья, похожие на сдобные облака с марципаном. Три миллиона! думал Вадим Сергеевич, за что? За этот чехол на самовар? Что я делаю, что я делаю!!! А Женечка уже показывала ему образцы пригласительных билетов, и будущая теща, ложась пышной грудью на спину Вадима Сергеевича, и крепко дыша хорошим виски, советовалась «со славным мальчиком Вадечкой», куда наши уси-пуси поедут отдохнуть... Вадимчик, солнышко, будущая теща вытащила его за пуговицу пиджака в лоджию, детка, меня волнует одно... она сделала вид, что помялась. Чего это у тебя детей-то нет, в таком возрасте? Ты нам Женечке жизнь не сломаешь, а, мальчик мой? Вадим Сергеевич посмотрел в ласковые бульдожьи тещины глазки, сказал, что выйдет за букетом для Женечки, и поехал на Ленинградский вокзал.

Парадное на Васильевском было все то же, даже эмалевая табличка с номерами квартир не была откручена. Вадим Сергеевич сглотнул, нажал синюю пипочку звонка. Дзинь! полетело по коридору. Дверь открыл пацан, лет четырех, с завязанным горлом.

– Болеешь? – спросил Вадим Сергеевич.

– Ну да, – ответил тот сипло. – А ты кто?

– Наверное, я твой папа? – Вадим Сергеевич хотел пошутить.

– Класс! – сказал пацан. – А ты что мне из Америки привез? – Вадим Сергеевич залез в сумку и вытащил купленный на вокзале апельсин.

РИТКА И СОНЕЧКА

Ритка Козлова и Сонечка Фельдман пришли в театр Артель одновременно. Показались хорошо, красавица Сонечка пошла на героинь, а смешливая Ритка – на характерных. Потому дружили. Сонечка была черненькая. Риточка – беленькая. Их так и звали – Смугляночка и Беляночка. Рита, на удивление быстро пошла на первый состав, играла много и охотно, а вот Сонечку режиссер «не видел». Как-то в гримерке, после репетиции, Ритка и скажи – Сонь! Надо! А то ты до пенсии будешь Ослика Иа-Иа озвучивать! Сонечка удивилась – да что надо-то? Я из театралки не вылезаю, на все репетиции хожу. Ну, не видит он меня, я-то что могу? Ритка даже попала тушью в глаз. Да ты что? Тебе надо материализоваться. Через койку. Элементарно. Сонечка замахала нежными ручками – как так? Я ведь Сережку люблю! А Пётр Андреевич фу, какой противный!

Сонечка промокнула губы лигнином, свела их в бантик, скосила глазки на кончик носа, расхохоталась и сказала – переживешь!

Сонечка пережила. Вместо койки был холодный кожаный диван, в кабинете главного гуляли сквозняки, и от мысли, что сейчас войдет кто-то чужой, она вся покрывалась гусиной кожей. Главный остался недоволен, но ввел во второй состав на «Три сестры». Сонечка играла в критические дни заслуженной артистки, и все были довольны.

Плохо ей стало в буфете от вида рассольника. Ритка тут же притащила тест-полоски, и завизжала от радости за подругу.

Всё, – Ритка прыгала маленьким мячиком, – теперь мы из него что хочешь выжмем! Под такое дело-то! И Сонечка, бледнея и покрываясь испариной, говорила с Главным по телефону под риткин бубнеж. Главный легко согласился дать роль второго плана в новом фильме, подарил Сонечке главную ролюшку в мини-спектакле, пообещал однушку на юбилей театра и даже энную сумму в конверте. Сонечка рыдала все дни до визита в больницу, а по дороге на аборт упала и сломала ногу, да так неудачно, что её всю буквально заковали в гипс. В больнице она пролежала все мыслимые сроки, и выход был один – рожать.

Осенью Сонечка родила ясноглазого мальчика, назвала его Сережей и вылетела из театра. Помреж, опуская глаза, вытащила докладную об опоздании. Все было честно. Квартиру ей не дали. Из общежития выперли. Сонечка с Сережей жили у Ритки, к большому неудовольствию Риткиной бабушки.

Через год Сережа-старший простил Соню, написал злобный пасквиль на Главного, и уехал с Сонечкой в Китай. А куда еще-то? Сережа был всегда занят, а Сонечка читала Сережке-младшему пьесы Чехова.

ПРОВИНЦИЯ

Серебристое акулье тело дорогой иномарки въехало в сонный еще городишко, распугало ворон, собравшихся на базарной площади, испугало старуху с ведром воды и затормозило у двухэтажного домика – кирпичного в первом этаже и деревянного – во втором. Дверь машины распахнулась, показалась и застыла в воздухе стройная нога в черном сапоге. Сладкий дымок дорогой сигаретки смешался с горьковатым печным, запахло просыпающейся землей, пахнуло из ближайшей пекарни свежим хлебом – приехала, подумала Поля. Вот, я и приехала. Дверь в дом, изъеденная дождями и временем, скрипела, как всегда, на одной ноте, на другой – тоном выше – скрипели ступени, повторяя шаги Полины. Дверей в квартиру тут не запирали. От кого? Городок доживал последние годы, и не сегодня-завтра спутник GPRS и вовсе не ответит на запрос – где город Н? Поля вошла в коридор, скинула куртку на сундук, обитый металлическими полосами, отдернула штору, служившую перегородкой – спит. Так и есть – спит. Диван не разобран. Смешивая свой свет с дневным, горит подаренная ею лампа. Пахнет сыростью, табаком, печным угаром. Она садится на диван и целует темный завиток за ухом. Прижимается к спящему вся, вдыхая родной и любимый запах, целует шею, отчего на ней остаются коралловые полукружья.

– Полька! – он просыпается, обхватывает её, не в силах поверить вымечтанному счастью. – приехала, Полька моя! Возвращенка! – кричит он, ликуя. Пытается вскочить, чтобы рассмотреть её.

– Берёзкин! Оденься сначала! У вас тут в России принято встречать дам в ситцевых ммм... бермудах?

– Поль, – Сергей суетится, пытаясь привести себя в порядок, не может найти джинсы, рубашку, расческу...

Поля ногой пододвигает к нему фирменную сумку, шуршит молнией, и выбрасывает вкусно пахнущие заграничные пакеты с джинсами, рубашками, бельем, кроссовками...

Через час они выходят на улицу Б. Почтовая, и, миновав пару домов с заспанными окнами, заходят в гостиницу, в которой в этот час можно перехватить пирожков с кофе.

– ммм, – Полина облизывается. – Берёзкин... как в детстве... кайф! Я просто лопну!

– как гастроли, Поля, – Сергей пьет кофе, не решаясь закурить, – как? принимали – как? победа?

– ой, ну, восторг! Америка – это тебе не ... – Поля замолкает, – Сереж, я ведь за тобой приехала. Все. Я дом купила, нам только документы оформить – это секундное дело. Давай уедем, я прошу тебя... ты же пропал уже, Серёж! Ну – кто ты здесь?

Сергей молчит. Он смотрит сквозь стекло с имитацией переплетов на улицу, по которой учительница ведет стайку младшеклассников.

– Я не поеду, Полинка.

– почему? Ну – почему? Ты уже никто! Кружок в школе! А ты пианист от Бога! Серёжа! Ты не представляешь! Тебя на руках носить будут, я тебе помогу с ангажементом, у нас будет всё!

– а кто останется здесь? – спрашивает Сергей.

– да никого тут не останется! – зло отвечает Поля. – Пустыня. Мертвые с косами. И – тишина...

– вот именно, – он закуривает, – тишина.

– да даже дети эти – уедут! Ты это понимаешь? Ты их выучишь, а они уедут!

– значит, не зря я тут жил, а?

– я похлопочу, чтобы тебе памятник поставили. за заслуги перед Отечеством. – Полина встает, срывает куртку с вешалки, и уходит. Сергей сидит, смотрит в окно, и через некоторое

время видит, как серая, похожая на акулу, машина, разбрызгивая уличную грязь, сворачивает на московскую трассу.

РЕПЕТИЦИЯ

...этот март был худшим из всех. Олегу сорвали репетицию, – раз, второй, третий. Взаимная неприязнь с московским элитным курсом и им, мальчишкой-провинциалом, чудом выдержанным из Балахны гастролирующим театром, достигла того накала, когда вот-вот и должен был родиться спектакль – или навсегда погибнуть режиссер.

Он шел от студии пешком, поддавая ногой пустые бутылки и ледяные окатыши, и утирал злые слезы рукавом пальто. На углу, в молочной, отстояв вечернюю очередь, он набрал молока и плавленых сырков, и так и шел – откусывая от тринадцатикопеечного батона, запивая молоком хлеб, и плача.

Общага традиционно гудела субботним вечером, где-то пели, где-то дрались, звонил телефон, к которому некому было подойти, и лилась ледяная вода из крана на кухне. Пока он, прижав подбородком бутылки с молоком, искал по карманам ключи, распахнулась дальняя дверь, полоснуло по глазам светом, пахнуло нехитрой студенческой пирушкой, и вылетела Юлька, студентка с младшего актерского. Смешная, маленькая, худющая, – он видел ее на репетициях, считал, что Анна Коралес сделает из нее свое второе «я», травести – навеки. Не его вкус! Ему же нравились женщины-вамп, с подведенными к вискам глазами, тонкие, нервные, непременно с сигаретой и волосами, забранными в тугой пучок.

Юлька, вдруг побежала к нему, именно к нему – от распахнутой двери, и, подпрыгнув, повисла у него на шее, зашептав на ухо стыдно и горячо – «люблю тебя, люблю, дурачок, я люблю тебя...» И падали бутылки на пол, и лилось молоко, смешиваясь с пылью, и были раздавлены сырки каблуками ботинок, а он, с дурацкой улыбкой все держал ее, прижав к себе, слушал слова, щекотавшие ухо, и мир менялся на глазах...

Юлька актрисой была такой – в настроение, нервическая девушка, как говорил ее педагог. Иногда ее несло, и тут уж она играла так, что кафедра ахала. Но чаще – так, в пол-ноги. Зато уж, что в ней ценили, так это необыкновенный нюх, чутье – на актера. Она видела в тихом, застенчивом пацане героя-любownika, и качала головой на потуги примы вытянуть отрывок. К ней прислушивались. Сначала руководитель курса, потом режиссеры-старшекурсники, – звали на репетиции, уводили под ручку в курилку – шептались. Славы ей это не прибавило, скорее – тихую ненависть, при внешней дружелюбности. Еще бы – от нее зависели... Сама она, впрочем, ни о чем таком не думала, играла в богему, пила вино на тесных кухнях хрущевок, бегала на просмотры для «пап и мам», а словечки «андеграунд», «контора», – слетали с нежных губ вперемежку с неперменным матом. Обычная такая московская девочка. Из Медведково.

Олег Кутузов, вечно какой-то пришибленный, попавший чудом на 2 курс режиссерского, к самому Слепцову, вызвал ее живой интерес. Вот такого, диковатого, не-столичного, шершавого, истово театрального, ей и надо было. Из него она и собиралась слепить главное в своей жизни.

А пока Олег покусывал свои усы скобкой, дымил дешевой «Примой» и писал, писал свои экспликации, примостившись на широком общежитском подоконнике.

Юлька смазала свежий лак и была ужасно зла. Битый час она орала на Кутузова, что его «Чайка» нужна только ему самому, а ставить нужно то, что во МХАТе не ставят. Островского. Кутузов орал, что они не Щепка, и все эти пузатые купцы в поддевках и Улиты – полный провинциальный мрак, и он, Кутузов, никогда, – слышишь! никогда! ... Наташка оборвала спор, резко запахло ацетоном, вонь которого Олег не выносил, и наступила тишина. Покрыв ноготь заново, Наташка помахала им перед Кутузовым и сказала – МЫ будем ставить «Без вины виноватые». Олег швырнул в нее Эфросовской «Репетицией» и, сорвав куртку, ушел кружить московскими переулками.

Юлька натянула юбку, пригладила волосы, и отправилась в читалку Театральной библиотеки. Быстрым, нервным почерком, падающим в конец листа, она набросала распределение ролей, бегло перечитала пьесу, покусала угол воротничка, довольная, скатилась с библиотечной лестницы, и вылетела на Большую Дмитровку.

Вечером покорный Кутузов слушал, как она видит постановку пьесы. Юлька стукнула кулачком в стену —

— Саш? — за стеной жил в своей мастерской студент с курса сценографии, — тебе слава нужна?

— а деньги будут? — перегородка была такой тонкой, что можно было и не кричать.

— все будет! — твердо сказала Юлька.

И слава пришла.

С кафедрой билась Юлька, которой, в общем-то, ничего выигрышного в спектакле не светило — Арина Галчиха, там и играть было нечего. На счастье Юльки, она обладала редким даром так выигрышно сверкнуть на втором плане, что начинало казаться, будто это каприз уставшей примы. Ее находки, от говорка до огромного носового платка, в который она трубно сморкалась — вызывали хохот зала. Надя Есаулова, на которую, по уверениям Юльки, и были задуманы «Без вины...», сбивалась с текста, пропускала реплики, злилась, а на премьере даже заплакала, после чего подралась с Юлькой в туалете. Кафедра сдержанно хохотала, а Коралес долго отчитывала Юльку у себя дома, и, дымя папироской, выговаривала, что сцена — не место для сведения счетов, а вот Станиславский, видевший ее игру в «Синей птице», утверждал, что она жаждет славы самой Степановой... Юлька возила ложкой в кофейной гуще, скучала и думала о том, что Кутузов сейчас проходит с Есауловой весь 2 акт...

Вообще-то, спектакль поставила сама Юлька. Она подбирала актеров с парадоксальным упрямством и, как всегда, оказалась права.

— Что? Величковский — Незнамов? — Кутузов делал сумасшедшее лицо. — Величковский? Этот... да он — мажорский сынок, понтырящик, у него нет характера, он сыграть сможет дверцу от шкафа! Ты в своем уме? Какой он — Гриша? Гриша — это... двойной характер, это слом, это...

Пока он говорил, Юлька читала детектив Жапризо и курила в форточку. Она знала, и это было единственно верным.

кафедра спектакль не приняла. Наотрез. Тут было все — и «издевательство над классикой», и «вялая режиссура», «искажение образа русской актрисы» — всё, что способствовало бешеному успеху постановки потом. Собственно, Кутузовской заслугой было одно — он, видя, что Есаулова при всей неотразимой красоте безнадежно слаба актерски, трагедию матери переиграл в трагедию актрисы, вынужденной жертвовать личным во благо святого искусства. Это понравилось, было понятно зрителю и Есаулову буквально рвали на части столичные театры. Шмага, которого сыграл совсем уж безнадежно списанный студент, рыхлый, болезненно бледный, угрюмый, и пьющий — оказался владельцем чудного баритона, и романс, исполненный им на собственные стихи, разошелся, да что там — разлетелся по стране. Его пели все — от лесоповального шансона до модных девочек-двойняшек. Вообще, все было сработано на редкость умело — такое наступает, когда дают высказаться тем, кто долго молчал и был забыт незаслуженно и обижен горько. Курс защитился, конечно, Чеховым, быстро собрали «Трех сестер», получили дипломы, а дальше, образовав что-то вроде студии, катали «Без вины виноватых», и даже за границу, и имели успех. Кутузова признали лучшим режиссером года, и приглашали, приглашали, до тех пор пока не появился новый, резкий, дерзкий режиссер и не взял внимание на себя. Кутузов женился на Есауловой, Юлька пила в его комнате в общежитии и выла так, что ее не отваживались оставить одну. В перестройку она занялась продюсированием, прогорела, продала квартиру и уехала в благополучную Швецию, где вышла замуж и забыла о театре.

Черно-белую фотографию, где всем составом выходят на поклон, она хранит в томике Чехова, которого так любит ее шведский муж.

ГАСТРОЛИ

эти гастролы были самыми тяжелыми – два месяца Поволжья, жары, духоты зала, обморочного солнцепека. Было ощущение, что ты грязный и потный, и никакой тепловатый душ не спасал. Гуляли вечерами по набережным, смотрели на огоньки плывущих теплоходов, пили легкое вино на балконе гостиницы сталинской постройки, мягко ступали по ковровым дорожкам, расходясь по номерам – продолжать до рассвета. Спектакли шли вяло, хотя публики было много, но часто путали текст от усталости, кордебалет не слышал дирижера, хормейстер охрип, а прима и вовсе – лежала со сломанной ногою.

Марина скучала по дому, маме и коту, ее удручало пьяное шатание и преферанс, грубые мужчины с их пошлыми шутками, и громким стуком в гостиничный номер за полночь. Тогда она влюбилась, чтобы оправдать свою жизнь в искусстве, и решила, что любима тоже. Женщины всегда путают – стереотип – «спит, значит, любит» был прочно вбит почти в каждую хорошенькую головку.

Объектом любви был артист, вполне заслуженный, чтобы стать народным, красивый, еще не потрепанный жизнью и бесконечными браками, но хорошо и шумно пьющий, страдающий от невостребованности в «совке» и ждущий приглашения из Голливуда. Пока ждал – играл, и часто, получал много – снимали его охотно за фактуру, пластичность, умение на штампах дать новый образ и за особый шик, который нравился женщинам-режиссерам. Марину он любил тогда, когда был пьян, когда нужно было сходить-слетать-сбежать-подать, а это нужно было часто. К концу гастролей она не мыслила жизни без него, пила Шампанское бутылками и уверенно ругалась матом. Он ушел из ее номера утром, забыв носовой платок в клетку, и в тот же день улетел на съемки. Она проплакала весь путь до Аэропорта и продолжила плакать в Москве. Артист умер на съемках, легко, во сне, оставив любящим женам детей, а Марине – носовой платок. В клетку.

СКРИПАЧ

У Дианы было редкое по красоте контральто, Боря был скрипач – от Бога. Красивая была пара – с детства. Музыкалка, потом Консерватория. Прочили такое будущее – страшно было верить. Борис не был красив, но, когда он упирался в подбородник, как бы желая удержать скрипку у лица, и смычок его взмывал и начинал жить своею жизнью – Борис становился прекрасен. Вдохновенная гениальность...

Пожились они на 1 курсе, Диана родила Арину, взяла академку. А для Бори все обвалилось летним вечером, когда он шел с Дианой домой. На Диану напали, защищая ее, Боря прижал жену к себе и получил такие удары бейсбольной битой, после которых и речи не могло быть – о скрипке. Боря впал в депрессию, Диана погоревала, вышла замуж за Бориного сокурсника Мишу, и, помыкавшись в 90-е, уехала с ним в Австрию. Она успешно концертировала, Миша открыл скрипичную школу, дочь Бориса училась в Англии.

Встретились Диана и Борис через 7 лет, в сквере напротив Консерватории. Борис держался уроками, бедствовал, выглядел худо. Мама его не перенесла несчастья с сыном и тихо угасла. Борис не женился по одной причине – он любил Диану. За это она присылала ему яркие открытки, где в конце дочь писала ломкими буквами «папа я тебя люблю».

Теперь же Диана, выглядевшая так, как только может выглядеть удачливая и любимая женщина при больших деньгах, старалась держаться скромно. Борис, просто смотрел на нее и видел – свою Дианочку. Диню. Динь-Динь...

– Борька, как я тебе рада, – Диана погладила его щеку тыльной стороной ладони. Запахло умопомрачительными духами, – ты скучал по мне?

Борис молчал. Он все теребил тесемки папки с нотами и смотрел на свои старые начищенные туфли.

– ты вернулась?? – он постарался спросить это безразлично.

– Борь... тут понимаешь, такое дело... я из Милана буквально на день, – Диана повертела кольцо на пальце, – ты знаешь... Миша... он попал в такую ситуацию, Боря... помочь можешь только ты...

– он болен?

– хуже... Боря, знаешь, тогда ...ну... когда тебе сломали руку... пойми, Миша не хотел, но он был вынужден, его заставили нанять этих подонков. Понимаешь... иначе бы он не победил на конкурсе... а ты... ну, у тебя и так все было... а Миша меня любил... а сейчас все вскрылось, и те ублюдки дали показания... Боря, – Диана взяла его за подбородок, – если ты не напишешь, что травму получил сам, Мишу посадят!

Борис молчал. Он был не в силах даже понять сказанное Дианой. Он поправил очки, и привычно потер перебитые когда-то пальцы.

– пусть посадят. – выдавил он.

Прохожие видели, как женщина стоит на коленях перед мужчиной, сидящим на скамейке, и говорит, и плачет, и говорит... Вот она уже уткнулась лбом в его колени.

– пойми... это не у ВАС, в России... там его карьера будет кончена, она будет раздавлен, он погибнет, от нас отвернутся – все! Подумай о своей дочери, Боря, не губи – подпиши бумаги.

Видно было, что мужчина, расстелив на папке какие-то листы, подписывает их, а женщина подсовывает все новые. Собрав бумаги, она встала, отряхнула колени, поправила губы, глядя в зеркальце, и вот уже – скрылась в переулке. Там прохожие слышали, как она говорила в телефон

– да подписал, Миш, да не трясись... все в порядке.. он всегда был – тюфяк. Гений, что с него взять?

ВИТАЛИК И ИРОЧКА

она была студенткой Плехановского, а он – студентом Шуки. Она была недоступно прекрасна, как будто бы ей, а не ему предстояло блистать на сцене, а он, наоборот, был скучноват, невысок, таскался за ней с 5 класса, сопровождал на олимпиады, экзамены, к больной бабушке, к подружке. Он для нее не имел пола – Виталик, да Виталик. Верный оруженосец. Она вызывала его криком – с балкона – Виталь! и он бежал к ней, и сидел на кухне, притиснутый в углу между холодильником и столом. Ирочка курила, пепел падал в чашку с кофе, а Виталик выслушивал очередной драматический сюжет. Казалось, Ирочка просто не предполагала простых отношений, вроде «люблю-целую», у нее все было – как на войне. Взрывы, минные поля, раненные, плен. Она даже говорила так – «Витась, он меня просто убил! Ты понимаешь?» Виталик понимал. Он смотрел в изумительного разреза карие глаза, подведенные черными стрелками и сам умирал вместе с ней. Иногда Ирочка полагала, что убита окончательно, и за это нужно выпить. Виталик покорно шел в магазин, приносил водку и тяжелую, рыхлую колбасу. Если трагедия – до деликатесов ли? Пили до утра, причем Ирочка держалась молодцом и почти не пьянела, а Виталик, у которого на следующий день была сценречь и отрывок, плыл и падал в Ирочкины колени. Все попытки Виталика обозначить себя мужчиной, Ирочка отвергала со смехом, и, в конце концов, убедила Виталика в том, что он – так – нечто. Вроде фикуса или табуретки.

На 3 курсе Виталика отобрали за отсутствие яркой внешности на роль двойного агента, и он, истерзанный бесполой жизнью около Ирочки, сыграл так яростно и жестко, что уже до заслуженного артиста ничего другого не играл. Разведчики, киллеры, менты-оборотни, скрытые за погонами наркоторговцы – все это исполнялось блестяще. Зритель, видя Виталика, сразу сжимался в кресле и ждал неизбежного – когда он, гад – раскроется?! Впрочем, теперь было «в тренде» не раскрываться, а законно отдыхать на пляже, обнимая за талии вертких мулаток.

Ирочка, утратив Виталика в качестве жилетки, стала выходить замуж, но всегда несчастлива. Карие глаза выцвели, стрелки, наведенные неверной утренней рукой, потеряли симметричность, а голос приобрел хрипотцу от дешевых сигарет. Как-то Виталик, возвращаясь со съемок, нашел у своей двери спящую Ирочку, пьяную, с синяками на запястьях. Втащил домой, стараясь не вдыхать ее перегар, уложил на кухне. Долго стоял на балконе, отрывая головки маргариток, сидевших в цветочном ящике. Резко развернувшись, вошел на кухню, стараясь не дышать и не шуметь, и, преодолевая отвращение, сделал то, о чем мечтал столько лет.

Утром она ушла, пока он еще спал. Больше они не виделись

ТАНЦОВЩИЦА

я бы назвала ее девицей манерной, из тех, у кого губки сложены умильным бантиком, а глазки опущены долу, говоря о неприступности и неприкосновенности. Танцовщицей она была небольшой – в смысле хрупкости, но танцевала в мимансе и была замечена. По жизни двигалась – как на сцене – на цыпочках, будто стояла на пуантах. Хотела замуж, но так – чтобы удачно, а не как в первый раз – от того брака осталась дочь – такая же, с губками бантиком и кудряшками под заколочками со стразами и цветочками. Эльф такой. Но злой эльф. Замуж пойти у танцовщицы не складывалось – и чем дальше, тем хуже. Любил ее крепко-накрепко – «из простых» – хорист, не солист, а так. Плотный, лысоватый, хотя и моложе ее. Любил сильно – будто и жениться был готов. Танцовщица же его не любила, терпела. Она розы любила, и непременно белые, так он осыпал ее буквально – встретит за кулисами, на колени встанет – и букетище огромный – к ногам. Она принимала – что ж, пусть видят – как любит. Может быть, и кто покрупнее заметит. Нет. Так годы и прошли. Хорист женился на угрюмой женщине, случайно привезенной с гастролей из Нижневартовска, родил троих детей и стал по школам уроки вокала давать. А танцовщица вышла на пенсию, проводила дочь замуж за границу и осталась одна, в крошечной квартирке – смотреть на чужих детей в песочнице да стену многоэтажного гаража.

БЭЛЛОЧКА

Бэллочку всегда звали – Белкой. За нежную рыжину волос, за привычку грызть – орешки, конфетки, даже кончик косы или тетрадку. Белочка, с бледной, как у всех рыжих кожей, легко краснела, отчего сильнее бледнели веснушки. Белка была любимицей бабушки. Дедушки. Второй бабушки. Тетушек. Родителей. Нет, положительно – Белку любили все. Она так хорошо смеялась – запрокидывая голову, будто полоскала горло – смехом. И надо же ей было непременно пойти искать актерского счастья. А все – родственники, все – ах! Бэллочка, почитай нам из Маяковского! Спой нам! Сыграй нам! Ах, покажи, как бабушка ищет очки! А как мама встречает папу? Нет-нет, наша Бэллочка – талант! Из Одессы в Москву тогда был прямой путь, а уж если у вас папа что-то да значит в Одессе, он будет значить и в Москве!

Бэллочка поступила в театральное училище, сменила белые школьные гольфы на настоящие колготки, отрезала шикарную, в мелкий каракулевый виток, косу и стала обычной столичной студенткой. Она быстро научилась пить, не закусывая, отказывать, не обижая, и уже ко второму курсу шла на первые роли. Снялась в той же Одессе (благо, и мама кое-что значила!) на киностудии, и уже к ней присматривались, и уже на нее даже рассчитывали, и впереди светило – да, не Оскар, но постепенно! постепенно – к заслуженной, а там... Белка, не прыгай! говорила бабушка Соня, которая держала всю семью в маленьком, сухоньком кулачке, будет тебе и орех, и таки золотая к нему скорлупка! Все так бы и случилось, но... на третьем курсе Белка смертельно влюбилась в педагога, народного не просто артиста – любимца! кумира! отягощенного женой и любовницами, детьми от брака и без, маститого, с шикарной, вальяжной фигурой – от него еще млела Белкина мамочка, и к нему ревновал Белкин папа. Кумир, играя бархатным голосом, учил тайнам актерского мастерства, которое было не столько в правильном прочтении трудов Станиславского, а в верном подходе к главному режиссеру. Белка записывала за кумиром в тетраточку, кумир про себя отметил нежный рисунок безвольного рта и огромные, бархатные, как южная ночь, глаза (ну, и так далее – по списку. Все комплименты были сделаны кумиром именно в таком порядке).

К началу второго семестра Белка поняла, что беременна, забегала в поисках врача, и уже было сговорено на пятницу, как ночью ей приснилась бабушка Соня, которая грозила ей кулачком и топала маленькими ножками, обутыми в ортопедические ботиночки. Только попробуй! кричала ей бабушка, даже думать за это забудь! Какой грех... какой грех... Белка проснулась от ужаса и поняла, что проспала. Мишеньку она родила знойным августом в Одессе, и, утопая в душном аромате роз, заполнивших палату, подносила к окну младенца, орущего красивым баритоном.

Театральное училище она все-таки окончила, тут уж подняли всех родственников по линии тетушки, и прилично себе устроилась в Одесскую филармонию, и концертировала, и даже сошлась с аккомпаниатором, правда, ненадолго. Мишенька вырос в настоящего красавца и, едва ему сровнялось 17, поехал покорять Москву. В театральное училище. Сильно сдавший кумир, подслеповато глядя на молодого красавца, читавшего на 2 туре Пастернака, несколько дней не мог вспомнить, где он видел это лицо...

ПОЛИНА

Полина была лучшей на курсе. Бесспорно – лучшей. Она даже на показы в театры не ходила – её взял к себе в труппу руководитель курса. В «Артель». Туда даже по блату не брали. Первые дни она просиживала на репетициях, как полноправная. Вечерами смотрела спектакли из директорской ложи. Она вместе со всеми посещала танцкласс и профсоюзные собрания. У нее даже завязался роман с ведущим актером, аристократом и народным любимцем. Актер до нее снисходил, заезжал редкими вечерами в театральное общежитие, долго просматривал коридор – не выйдет ли кто из соседей, после чего быстро любил Полину и так же, крадучись, уезжал. Не пользуясь лифтом. Полина шла на общую кухню, где пили вино, играли в преферанс и пели песни, и улыбалась, и пила, и пела. Играла она плохо, разве что в подкидного дурака.

Прошел год. Зарплата шла. Занимали Полину в утренниках и в массовке. От съемок она отказывалась, ожидая главной роли, и постепенно ей стали звонить все реже и реже. Роман с ведущим закончился, начались скучные отношения с очередным режиссером, у которого семьи случались во всех городах по пути следования в Москву. Режиссер громко хохотал за соседней стенкой общежития, когда к нему приезжала внезапная жена, и делал вид, что незнаком с Полиной.

На третий год, отчаявшись, наглотавшись успокоительного после очередного распределения ролей, Полина без стука вошла в кабинет главного. Режиссер писал статью о театре крупным, почти квадратным почерком, и был удивлен не меньше Полины.

– в чем дело, Полина Николаевна? Я могу Вам чем-то помочь?

Полина молча закрыла дверь и ушла из театра. В тот же вечер, сев на ночной поезд до Петербурга, она оставила Москву и свои иллюзии. В городе на Неве она удачно вышла замуж, родила двоих детей, после чего уехала с мужем в Америку, где и основала косметическую компанию.

ТАЯ

такая она была – Тая. Тихая, медлительная, незаметная. Не красавица, а так – приглядеться, чтобы полюбить. Но в театре нет времени разглядывать реквизиторш, да еще таких – невзрачных. Полно было молодых, ярких, они оттирали друг дружку локотками, блестя алыми губками, хлопали черными ресницами, хохотали и носили обтягивающее снизу и открытое – сверху. Они порхали веселыми стайками, курили, спрашивая сигаретку, и шурили глаза, втягивая дым. Они не имели профессий – так, поклонницы, любительницы театра – точнее, актеров. Устраивались на какие-то должности, просматривали репертуар из-за кулис, и потом так же исчезали. Бабочки. Однодневки. Тая же все выходила на сцену, шаркая домашними туфлями, расставляла по тетрадке реквизит – «заряжала» сцену. Во время действия тихо стояла или с подносом, готовясь принять недопитый стакан чая, или, наоборот – подать бутылку вина. Валерий Андреевич Заварзин, народный артист СССР, Лауреат, дипломант, и тому подобное, вальяжный, избалованный любовью, деньгами и режиссерами, замечал на сцене только себя. В образ входил, как в новый костюм, переставая быть собой, Заварзиным, а становясь – становясь кем угодно. Мастер был великий. А на том спектакле, как назло, подушку ему не ту зарядили. Не плоскую, как любил, а мягкую. И сбили его с роли. Уж как он кричал, как топал ногами... мягкая Тая моргала виновато – старая износилась, в ремонте... не проследила... От ужаса содеянного она вдруг зарделась, а не побледнела и похорошела удивительно. Заварзин ее – увидел. Она вдруг приняла очертания, материализовалась – из ничего, из кулисной пыли да бутафорских бокалов.

Заварзин, обремененный одной и той же женой, шага не ступал без вельможного одобрения. Супруга позволяла ему влюбляться в партнерш, строго отслеживала течение романа, лично подбирала галстуки мужу и цветы для очередной музыки. В случае угрозы семье лично же и вмешивалась и прекращала «интрижку» с помощью профкома, худрука и валидола. С Таей вышла промашка. Не увидев в ней соперницы, супруга допустила Заварзина до чаепитий в Медведково, где народный возлежал на разложенном Таечкой диванчике, пока она пекла ему запрещенные врачом оладушки. Тая не нуждалась в выходах в свет, она любила Заварзина трепетно и благоговейно – на дому. Провожала его до машины, следила, чтобы он не забыл шарф, шляпу или ключи. На гастролях их селили вместе, учитывая весомость Заварзина, и эти недели были написаны для нее золотыми чернилами.

Заварзин, будучи скуп, не дарил ей ничего, кроме афиш, подписанных достаточно безлико – " с благодарностью...» – и витиеватая подпись с хвостиком.

Когда он слег с сердцем, Тая, не смешая посещать его в больнице, передавала оладушки, которые супруга брезгливо выбрасывала в ведро.

На похоронах Заварзина Тая положила белые розы к его увеличенной фотографии, висевшей в фойе театра, и, уйдя к себе в каморку, сидела и гладила рукой подушечку – с которой все началось.

БРОНЬ

Афанасий Альбертович Лисицкий, заместитель директора театра Юнком, грузный, лысеющий мужчина 40 лет, двигался по кабинету с удивительной легкостью, обтекая всем телом сидящего на краю полу- кресла зеленого плюша мужчину.

Был тот ненавистный администрации любого театра день, когда приходили «списочники», имеющие право на билеты на самый популярный спектакль. Популярной была «Ундина...». Мужчина смотрел на зам. директора умоляюще, плохо скрывая растущую изнутри горячую ненависть. Задачи у них были разные – у Лисицкого – не дать 2 билета, у мужчины – взять. Диалог бурлил.

– Голуба моя! – поправляя подтяжки и расстегивая верхнюю пуговку рубашки, говорил Лисицкий, – ангел Вы мой! Ну, подумайте сами? Ну? Подумали? Вот и ладушки... К чему? Вам? Эта «Ундина» сдалась? Я Вам, голуба моя, как себе скажу – я не люблю этот спектакль! И не хожу! да! Громко, невнятно, дым, знаете ли... Вы как слышите?

– хорошо, – твердо отвечал мужчина, впиваясь в край кресла, – слышу хорошо. И зрение хорошее.

– Вот видите! – замдир обтек кресло с тылу и хлопнул в ладоши, – а сходите на спектакль, оглохните! Ни-че-го больше не услышите... – вспотев, Лисицкий расстегнул пуговицы на жилетке, – будете глухой и меня еще ругать будете! Скажете – не предупредил меня Афанасий Альбертович! Не досмотрел! нет-нет, голуба моя, не посмею! Моя забота о ветеранах, о престарелых – Лисицкий скрестил пальцы в кармане объемных брюк, – всем известна. Да я столько в санатории отправил... да..

– мне положены билеты! – уже с тихой ненавистью сказал мужчина, – положены, понимаете?

– конечно! Разве я билетов Вам не дам? Ну что же Вы так... – Лисицкий добежал до стола, танцуя, придвинул к себе черный от заветности ежедневник, – Вот! Сергей Сергеевич мой дорогой человек! я уже пишу! В кассу! Вот! На два лица! Партер! Середина! Чудно-чудно, – пел Лисицкий, вкладывая бумажку в руку мужчины и

нежно выпроваживая его из кабинета, – вот! чудненько! прекрасненько!

Когда за просителем закрылась дверь. Лисицкий пал в кресло, нажал кнопку селектора, спросил себе минералки и кофе, взяв из напольного сейфа бутылку, капнул себе коньяку... – ну народ... все на «Ундину и Небось»!! А кто остальное-то смотреть будет?

Мужчина, протянув в кассу счастливый листочек, получил два билета. На спектакль «Чехов»...

АСЯ

Ася не умела петь. Но – любила! Не умела танцевать – но любила же! Она любила все, что двигалось, пело, блестело, кружилось, – она любила праздник! Девчонкой, она впивалась глазенками в цирковые праздники на манеже, прилипала – не оторвать! к афишам детского театра, а уж кукольный, кукольный. Образцовский, с «би-ба-бо» на афише!

Жизнь же была сурова. Бабушка, мама и две бабушкины сестры, живущие с ними в огромной ленинградской квартире на 3 линии Васильевского острова, были тверды. «Никаких театров!» – сказала старшая, Ольга, подняв к потолку сухонький палец. Над ними жила балерина. Она прыгала под музыку, и хрустальная люстра, потерявшая половину подвесок, ласково пела – «дзынь! Дзынь – дзынь-дзынь!» К балерине ходили поклонники с цветами, и это было неприлично.

«Никаких опереток!» – сказала средняя, Ирина – и показала таким же пальчиком – вбок. Там, за стеной, жила опереточная дива, которая весело напевала арии из «Сильвы» и «Марицы» и прыгала в зажигательном канкане – с дивана, на пол. «Тум-тум-тум -буум! – отзывался бронзовый бюст ученого Асиного прадедушки, стоявший вплотную к стене.

«Никаких цирков!» – сказала младшая из сестер, мама, – голову сломает или лев ее съест!»

«Нет, нет и еще раз – нет» – это уже сказала сама бабушка, Нина.

И маленькую Асю отдали в кружок судомоделирования с прицелом на Корабелку. Ася честно клеила парусники, рисовала флажки и стучала Азбукой Морзе своему соседу Ваньке. По батарее центрального отопления.

В институт Ася поступила сразу. Потому, что прадедушка был знаменитым кораблестроителем. Его именем даже называли сухогруз. Имя оказалось длинным, и сухогруз поплыл в усеченном варианте – СППВ-44 бис.

На беду, в Корабелке была сильная самодеятельность. Настолько сильная, что флот СССР постоянно не мог досчитаться инженеров-корабелов. Тут наша Ася и развернулась. Среди красивых, хорошеньких или просто внимательных мальчиков она расцвела, перестала зажиматься, распелась, расплясалась и разыгралась до того, что поступила в ЛГИТМИК и вышла оттуда с дипломом актрисы театра и кино. Глядя сейчас на работы этой миловидной, искрящейся, улыбчатой девушки, трудно поверить, что она могла бы затеряться в угрюмых доках, среди ржавых корабельных днищ и грубых докеров.

Вот ведь – от судьбы не уйдешь, ага?

ВЕРА АРКАДЬЕВНА КОЛЬЦОВА

Вера Аркадьевна Кольцова – актриса. Она буквально взлетела в восьмидесятые, снявшись в мелодраме, в успех которой никто не верил. Обычная киношная история – героиня любила женатого, ее полюбил молодой и успешный, она женатого бросила, а потом передумала и опять вернулась в свое одиночество с чужим мужем. Женщины рыдали, думая, надо же! Есть еще любовь на свете, правда, непонятно, к кому. В девяностые стало скучнее, работа была из дешевых, но Вера Аркадьевна пыталась выбирать, до рекламы не снисходила – продержалась. Пока перебивалась, даже курс взяла в театральном, даже в Америку съездила – соотечественников порадовать. Те уже успели устроиться, на актрису смотрели снисходительно – вот, мол, дура, уехала бы десять лет назад, уже была бы – как мы. Ну, не в шоколаде, так хоть в фольге. Там же встретила свою старую любовь, Васечку Кисляева. Васечка приятно располнел, загорел, хвастал фотками жены-мулатки, дорогой тачки, стриженного газона, карточкой гольф-клуба, пил виски, пытался ущипнуть Веру Аркадьевну по старой памяти, но, протрезвев, от дальнейшего сближения отказался. Вера была разочарована, вернулась в Москву, где все ей показалось тусклым и будничным после американского многоцветья и многоголосья, стала искать старые связи – сниматься, сниматься! Время уходило стремительно, а поджимали уже не двадцатилетние, как раньше, а чуть не старшекласницы. Их снимали охотно, считая не актрисами даже, а «исходящим» материалом. Вера Аркадьевна уже привыкла слышать в трубке «Ну, Верунчик, ты знаешь, детка, сейчас такое время... ты пойми... ты лицо на классику, а мы же гоним – что? Ну, разве на маму второй героини? Или соседку? Нет? Ну, как знаешь...» Привыкнув к отказам, она внутренне постарела, зажалась и была готова на любую работу. Но больше не было клубов, дворцов культуры – были только частные школы да репетиторство.

Мало кто узнавал ее – да и кто помнил? Одиночество давило, и она все больше замыкалась в себе. Прибилась к ней как-то на улице собачонка, беленькая, невзрачная, несчастная. Кольцова пригрела её, выводила гулять, так и познакомилась с Сергеем, который восхищался Верой по старым её фильмам. Сергей был много моложе, женат, но Вера Аркадьевна полюбила его искренне. Сергей оказывал ей мелкие услуги, выслушивал воспоминания о знаменитостях, закатывал глаза от восторга, приносил недорогие розочки и даже возил на дачу. Впрочем, жена Сергея к Вере Аркадьевне не ревновала. Вера Аркадьевна, поймав себя на том, что она опять если не любима, то хотя бы желанна, вдруг согласилась на эпизодическую роль в скучнейшем сериале, да сыграла с таким блеском и юмором, что снова вышла в звезды. Полетели приглашения на ток-шоу, вышла пара глянцевого дамских журналов, да еще кулинарный поединок, на котором Кольцова блистательно испекла настоящий пирог с визигой. Слава вернулась, появились деньги, и уже можно было себе позволить многое, и поменять «лицо», и позволить себе – быть узнанной на улице... Сергей отошел в тень – на него просто не хватало времени, но он приходил, как прежде, по пятницам, и приносил розы. На длинных колючих стеблях. Из Америки приехал Васечка, и Кольцова закрутила роман, да какой! Со сплетнями, фотографиями, да так, что дело чуть не кончилось разводом с красавицей-мулаткой...

На вечере, посвященном памяти Кольцовой, Сергей ощущал себя скованно, но, представленный немногочисленной публике, как дальний родственник некогда известной актрисы, даже рассказал пару вполне уместных забавных случаев из жизни Веры Аркадьевны и сорвал аплодисменты.

КОСТЮМЕРШИ

в гримуборной маленького театра тихо. Потушены лампы, на столиках открытые коробки с гримом, мятый лигнин, дешевые духи, английские булавки, начатый кроссворд, фотография любимого мужа в пластиковом веселом футляре – словом, все то, без чего нельзя жить. У окна сидят две костюмерши, пожилые, усталые тетки в синих форменных халатах. Одна вшивает крючки во французскую застежку, вторая чинит кружевное жабо, аккуратно поддевая крючком тончайшие нити.

– Ниночка, – первая откусывает нитку, – а ты помнишь, у нас был такой актер, красавец мужчина? Жен-премьер? Такой утонченный... как же его?

– ммм... – Ниночка трет переносицу, – смешная фамилия... Парнасов-Нильский?

– да-да!

– а как же! Ты помнишь, что было на премьере «Гамлета»?

– да! Его несли на руках до Набережной... а сколько было цветов, ты помнишь? – Зиночка смотрит во двор театра, где рабочие носят в сарай декорации, – в него были влюблены абсолютно все! Даже – помнишь, ту актрису из Москвы?

– Леночку Венскую? Еще бы! Она же бросила столичную сцену

ради него. Интересно, где она сейчас... Какая была милая девочка, такие надежды... к ней же сватался сам ...?

– у нее ведь была дочь от него, ты знаешь? – Зиночка грустно сморкается в марлечку. – Наверное, уж и в живых-то нет...

– ой, Зиночка, Парнасов же поступил с ней, как совершенный мерзавец! Она пришла к нему за кулисы, а он...

И тянется, тянется, клубочек воспоминаний двух милых старушек, заставших пору расцвета их кумиров. И сами они давно стали частью жизни тех, знаменитых, гремевших тогда на весь Союз актеров и актрис. Хранительницами чужой славы.

ОСВЕТИТЕЛЬ

она была актрисой. Ну – актриса, и актриса. Сколько их. Талантливая, говорили, в студии была. Надежды подавала, даже в кино снялась. В театре потерялась – задвинули, затерли. Она и бороться не умела. Поставят во второй состав – играет. Поставят на замену – играет. На гастроли в Урюпинск – пожалуйста. Даже концертную ставку себе не просила поднять. Сцену любила. Муж ушел сразу после свадьбы, дочь в кулисах росла.

Он был осветителем. Простой такой осветитель. Партитура, линзы, штекера-провода. Обычное дело. Но он был просто волшебником – светописцем прям. А свет на сцене – это больше, чем декорации. Больше, чем костюм, грим. Светом можно было вообще иную реальность создать. Он и создавал.

Он актрису эту любил. Все об этом знали. И тоже его отправляли – в Урюпинск, на шефские в колхоз. А чего жалеть? Если любовь...

Когда на гастролях пили от скуки паленый коньяк в унылом номере, ему друзья и сказали – да поди ты к ней, скажи. Чего уж, не женщина она? Нет, – отвечал, – не женщина. АКТРИСА. Это вы, – говорил, – просто не видите, какая она! Они все пальцем у виска крутили – ну, дурак, и есть дурак, Давно художником по свету стал бы – а он всё из театра не уходил, чтобы с ней рядом быть. Пьет кофе в буфете, или яйцо разминает вилкой, – а сам все в ее сторону косится. Она грустная такая была, все больше одна и сидела. Курит, в окно смотрит, и пепел на блюдечко стряхивает.

А потом ее машина сбила. Прямо у театра. Народ набежал, ахает. А кто она – и не знают. В сумочку полезли, за паспортом. А там, в обложке – фото того осветителя. С профсоюзного билета. Вот так.

А уж когда она после сотрясения пошла на поправку, они и объяснились. Прямо там, в палате. Среди бабушек, уток и гипса.

Так и живут вместе. Говорят, счастливы...

АЛЛА И СВЕКРОВЬ

Алла ненавидела свекровь. Благодарность за то, что свекровь родила сына Мишу, меркла из-за того, что она родила его для себя, а не для Аллы. Алла слышала голос свекрови всегда и везде – от раннего утра, когда Эвелина Михайловна докладывала сестре, Энгелине Михайловне в каком месте, и на сколько посетили ее тело боли сжимающего, колющего, ноющего и прочего характеров. Нужно сказать, что Эвелина Михайловна, преподававшая до конца 90-х музыку в средней школе, была чрезвычайно изобретательна. Боли были музыкальные. «Моя лодыжка сегодня в миноре», или «меня пучило так, что можно было сыграть увертюру к опере!» «Ах, в голове играли литавры и треугольник»... От музыки свекровь переходила к ней, к Аллочке. Невестка была обозначена словом «эта», – «эта вчера насыпала Мишуньке приправу! Искусственную! С глютаматом! Мишенька, с его диабЭтом, с его камнями в пузыре! И эта приправа! Она хочет извести его! Отравить его. А потом – меня. Мне снилось (свекровь переходила на громкий шепот), что она отравила всю мою гречу!

Алла, менявшая в это время наполнитель в кошачьих лотках, сопровождаемая четырьмя свекровиными кошками, оглядывала кухонные полки и понимала, куда исчезла гречневая крупа. Рис. Подсолнечное масло. Удивительно одно – свекровь предполагала наличие яда только в просроченных продуктах, и никогда – в растворимом кофе или клубничном джеме...

Миша все время отсутствовал. Он как бы жил и как бы – не жил. Он звонил мамочке, докладывал о том, что запломбировал зуб, прополоскал горло и сделал прививку от гриппа. Он говорил о том, что ел, сколько и когда. Иногда он появлялся дома, в куцей курточке и теплых ботинках, терся об аллочкину щеку, тщательно мыл руки антибактериальным мылом, ел постные жиденькие супчики и расхваливал мамины паровые котлетки из манки. Котлетами брезговали даже коты.

Брак был загадочным. Алла чувствовала себя приговоренной к свекрови, считая, что она и ее кошки посланы ей в усмирение нрава. Конца испытаниям не предвиделось. Какую роль в этом пятнадцать лет длящемся браке играл Миша, так никто и не понял. Впрочем, к пятидесяти годам Миша, наконец-то полюбил, и, не решаясь беспокоить мамочку, сразу уехал в Германию. Впрочем, открытку с видом Дрезденской галереи мама все-таки получила. Инсульт, случившийся с ней, не изменил Аллочкиной жизни, только теперь ей приходилось докладывать Энгелине Михайловне о состоянии здоровья сестры. Сухо и скучно. Не музыкально. Аллочка выходила свекровь, и теперь та сидит на венском стуле у подъезда, пока Аллочка перестилает кровать и меняет наполнитель в кошачьих лотках.

ЧИСТАЯ ДЕВОЧКА

такая она девочка была – чистая. Папа офицер, мама – дома. До 16 лет – по гарнизонам. Балованная. Единственная. Голубые глаза, нос пуговкой. Концерты в Доме офицеров, кружок в Доме пионеров. На катке – только у нее – голубая шубка в талию, шапочка с блестками. Домой идет – на коньках чехлы – цок-цок. Мальчики в школе с ума сходили. Но – дома мама да бабушка. На день рождения – только девочки из класса и один-два мальчика. Чтобы в очках и из музыкальной школы. Как же – кругом ТАКОЕ! Про ТАКОЕ – шёпотом, да и не при отце. Отец то на учениях, то на стрельбищах, а то у любовницы – когда ему воспитанием заниматься? Он строгостью держал. По выходным, если случалось. С ремнем. Убедительно всё выходило. Девочка так и росла – чистая, хорошая девочка. Даже книжки читала, и на ночь косу заплетала и тапочки у кровати аккуратно так ставила – в 6 позицию.

А не уберегли. Даже в город не успели отправить – уже беременная была. Скandal в школе. Отцу на службе – по шее, какой ты командир, раз дочь не можешь в узде держать? Бабка с инфарктом, мать – криком, ремнем – а куда ремень, коли ей рожать скоро? Пацана того, кто «нашу девочку испортил», так и не нашли. Да и не искали. Как копнули – ахнули. Тут и наркота с 14 лет, и компании такие... не из музыкальной школы. Родила она девочку – маленькую, беленькую. Глаза голубые, Ручки в перевязочках. А сама она – так и сгнула. Видали, говорят, на трассе, дальнобойщики. Но врут, наверное.

ПУСТЫРЬ

Они выходят вечером из тускло освещенного подъезда – мужчина и его собака. Оба немолды – мужчина идет тяжело, часто останавливается. Собака идет рядом, не отходя от хозяина, и все время поднимает седоватую морду вверх – смотрит на него. Они доходят до пустыря, на котором идет стройка, и садятся на скамейку детской площадки. Самой площадки уже нет, песочница развалилась, а деревянный домик, загаженный внутри, покосился, потерял дверь, резной смешной конек – и вот-вот рухнет сам. Мужчина смотрит на ровную площадку, раскатанную бульдозером, и курит. Собака ложится у его ног, кладет голову на лапы и дремлет. Мужчина смотрит – и видит дом, который стоял здесь еще год назад, неуютный снаружи, с балконами, застекленными кое-как, полными всякой домашней рухляди, видит деревья, выросшие почти до крыши. Дом простоял здесь всего полвека, мужчина жил с ним почти с самого рождения, сюда он привел жену, отсюда увез мать в больницу, отсюда ушел отец к другой женщине, отсюда провожали в армию сына... Мужчина находит в вечернем небе квадрат несуществующего окна несуществующей кухни и вглядывается в него, щуря глаза. Он видит семью, сидящую за столом, себя, вскочившего на звук телефонного звонка, он слышит плач ребенка, и тихое, монотонное «баю-бай» жены...

Собака поднимает голову, ее глаза слезятся от старости, но и она – видит знакомую когда-то дверь и лестницу, ведущую на пятый этаж.

АНЖЕЛА

Анжела приехала в Москву давно, уже три года как. Теперь ее звали Аня и у нее была квартира и ипотека. Аня была хорошенькая и умная девочка. Она быстро научилась говорить, как надо, куда надо ходить и дружить, с кем надо. Мебель была – как надо, кредит на машину – как у всех. А у подруги была собака хаски. Это было круто, как модно, и Аня заняла денег и купила щенка. Щенок был девочкой, и очень смешной девочкой. Аня назвала ее Джоли. Это было красиво. Утром Аня уходила в свой банк, а Джоли писала, грызла мебель из Шатуры и выла от тоски и голода. Аня, вернувшись, шлепала ее газетой и брезгливо вытирала шваброй лужи.

Аня познакомилась с парнем на Мицубиши Паджеро, и с перспективой на Тойоту Лэнд Крузер, и жизнь ей перешла на этаж выше. Просыпаясь утром на серых простынях под шелк, она нежно шептала насчет пожениться и свалить на фиг в Европу. Паша молчал, пускал дым в потолок и искал в уме, не отягощенном ничем, кроме он-лайнных игр и биржевых котировок, причину, по которой не следовало бы объединять их жизненные пути. И нашел.

– Ань. – глотнув пива и зевнув, сказал он. – я по принципу не против.. насчет сама понимаешь... но эта.. у меня эта.. ну, на собаку твою аллергия... я того.. прям ваше дышу и чего-то чешусь..

Он ждал, что Аня заплачет, и скажет, что щенок дороже – все девочки вечно любят щеночков, пупсиков, цветочки... и они плавно разъедутся на своих иномарках. Но Аня решила иначе, и в тот же вечер милая, голубоглазая Джоли оказалась заботливо привязана за красный ошейник, который так шел к ее меховой шубке, у магазина «АШАН», на самом выезде из большого города...

Молодая супружеская пара, приехавшая рано утром в магазин, с изумлением увидела породистого щенка, который лежал, насколько позволял поводок, и скулил безостановочно. Джоли повезло – её тут же забрали, накормили, и позвонили по телефону, написанному внутри сердечка на ошейнике.

– ой, – сказала Аня, – это какая-то ошибка, у меня никогда не было собаки...

НИКИТИН И ЭЛЕЧКА

Никитин жил с Элечкой уже третий год. Расписываться теперь было не модно, свободу искали не от семьи, а в семье. Так они и жили, не мешая друг другу. В съемной двушке в Бирюлево. У Никитина былHover, плазменный телевизор и амбиции. У Элечки была стиралка Bosch, кожаный диван и мечта сняться в кино. Элечка была родом из деревни, страшно стеснялась этого, тянула московское «а», скандалила, как настоящая столичная штучка, но мусор все равно выбрасывала около подъезда. Хорошо они жили, незаметно друг для друга и без обязательств. Как-то вечером, когда от духоты не спасал даже вентилятор, жужжащий на холодильнике, и пиво казалось теплым, и майка липла к телу, Элечка вдруг хлопнула себя по лбу. Представляешь, сказала она, мне сегодня Вика из деревни позвонила, сказала, что мамка моя померла. Ехать надо. Никитин отлип от телевизора и уставился на Элечку. Тебе чего, маму не жалко? Почему, ответила Элечка, полируя ноготь, очень даже жалко, так померла же? А ехать надо. Дом продадим, на ипотеку хватит. Никитин пожал плечами – он никогда не вмешивался – себя берег.

Выехали так рано, что навстречу попадались лишь желтые сонные такси. До деревни было 300 километров по трассе, 100 – бездорожьем, да еще километров 12 по лесу. Дом, некогда огромный, на две семьи, стоял запущенный. Правая половина давно лишилась крыши, а левая еще жила, и замок на двери говорил о том, что ушли отсюда недавно. Элечка нырнула в заросли березняка, и вернулась уже тропинкой, в обнимку с пожилой женщиной, в чистом стираном халате. Соседка все всхлипывала, все причитала на ходу, все выговаривала что-то Элечке. Та делала отсутствующий вид, будто слышала все это сотни раз и ей это надоело. Наконец женщина открыла тугой замок, вручила Элечке ключ, сказала «здрассьте» Никитину и вошла вслед за ними.

Элечка потопталась на крыльце, отбросила ногой ветхий половичок и зашла внутрь. Чужой, затхлый, нежилой дух, запах бедности и болезни, горького, вдовьего жилья – быта, без надежной мужской руки – поразил Никитина. Печка почти рассыпалась, половицы кое-где сгнили, и уже через щели в полу пробивалась цепкая малина. Кровать, на которой столько лет пролежала разбитая инсультом Элечкина мама, выглядела особенно жутко. Я тут ничего-печки не трогала, тараторила соседка, думала, вот, дочечка приедет, порядок сделает. Мы-то к покойнице с бабкой Катей ходили, носили что из автолавки, хлебушка там, то се. И фелшера вызывали, ну уж когда она слегла была совсем. Ой, мучивши как, ой, мучивши... страдалица наша, ох... Хватит причитать, отрезала Эльвира, ты мне лучше скажи, в какую цену теперь дома тут? Да в какую? Да ни в какую, – соседка шмыгнула носом, тут ведь и света не бывает зимой, ничего. Так, если сто тыщ выручишь, почитай повезло. Помолчали. Вдруг едва слышный звук прошел из-под кровати, с которой еще были не убраны впитавшие болезнь простыни. Никитин присел на корточки. Из-под кровати на него пялились два глаза. Агатовые. Влажные. Несчастные. Никитин протянул руку. Владелец глаз то ли завыл, то ли зарычал. Кто это? спросил Никитин соседку. А, отмахнулась она рукой, это Мушка. Ну, собачка. Как прибившись к Элькиной мамке, так и жила с ней. Охраняла. Та уж делилась с ней чем могла. А как померла Анечка, так Мушка и не уходит отсюда. Я сначала кормила, – соседка опять всплакнула, а щас и нечем, да некогда. Так вот и лежит, уж скоко не знаю.

Эль, сказал Никитин, надо собаку забрать. Да ты сдурел. Элечка просматривала бумаги, извлеченные из маминой укладки. На хрена еще в Москве шавка немытая? Да еще больная? Чего тебе, собак мало? Куплю тебе йоркшира, уймись. Эль, Никитин помедлил, не будь сукой, а? Все ж она с твоей матерью кусок хлеба делила. Никитин, отвали, – Эльвира нашла документы на дом, – ее пристрелить надо, чтоб не сидела тут, надо мужикам сказать. Собирайся, ночевать не будем, в райцентре в гостинице остановимся. Ты за сколько дом продать хочешь,

спросил Никитин. Ну, хорошо бы за двести, но навряд ли. Я тебе триста дам, сказал Никитин, но до города ты одна пойдешь. Или трактор наймешь.

Когда отзвенел Элечкин визг, Никитин сел на крыльцо, закурил, и тихо посвистел – эй, Мушка, вылезай. Мы теперь с тобой вдвоем дом охранять будем. Никитин оттряс грязь с кроссовок, внес в дом сумку, разложил продукты на столе, зажег фонарик, выпил водки, закусил, поставил на пол шербатую миску с тушенкой, и лег на продавленный диван с валиками. И провалился в сон.

Ночью тихо зацокали коготки, вылезло из-под кровати тощее, чернявое существо, бывшее когда-то кудлатой Мушкой, вздрагивая и прядая ушками, смело всю тарелку. Подумав немного, Мушка прыгнула на диван и свернулась в ногах у Никитина.

МОЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЮБОВЬ...

Итак – мне 14 лет. Долговязая, угловатая, волосы собраны в хвостик, и все комплексы, положенные этому чудесному возрасту, до-расцветному. Читаю Жорж Санд, слушаю Адамо и хожу в Консерваторию. По вечерам пишу в дневник и рисую акварелью нежные профили...

Папа мой был био-географом, и в его институте был проект Альпы-Кавказ, тогда еще с Францией дружили, а Кавказом называлась горная система.

И приехал к папе на стажировку настоящий француз! Это в 70-е годы! В джинсах! В кожаной куртке! Курит Gitane. Смуглый, белозубый, темноглазый, с шапкой – именно с шапкой! выющихся волос цвета воронова крыла. И зовут – Жан, как и положено. Племянник Анны Зегерс.

Ну, влюбилась. По уши. Хожу по пятам – не дышу. Марсельезу пою. Французский за год – выучила сама, пишу и понимаю. Но – не обращает он на меня внимания, ну, никак!

Жан приходил к папе почти каждый день. Мне доверяли сервировать чай. Я раскладывала ложечки, била посуду и проливала заварку на скатерть. Когда он уходил, я прятала ложечку, которой он мешал сахар, под подушку, и мама молчала и не ругала меня.

Жан был очень ласков со мной, но как с ребенком, потреплет за щечку, и скажет – бон жур, ма шери Додо, коман са ва? и – идёт чертить свои (карты географические)??? (схемы высокогорной растительности). Уехали они в экспедицию, на Кавказ. Я решила – письмо пишу – взяла «Евгения Онегина», подкорректировала, няню выкинула, кое-где французские слова вставила – чудо! «Мой милый Жан, я к вам пишу, чего же боле я скажу? Я Вас любила безнадежно, мон шер ами, меня пойми» – и дальше в том же духе. Писала пером и тушью выводила, старалась неделю. Думаю – ну, не может быть, чтобы он такого чувства не понял! Я же ему первая открылась! А вдруг он меня тоже любит и просто папы боится?

Он вернулся, опять по щечке меня потрепал и сказал на ломаном русском – «ти мальишка совсем... малыютка... тибье рано думать о жэ вузэм». Я так плакала, что не видела ничего перед собой, стою, щеки пунцовые, из носа течет, от волнения еще и заикаться начала, пытаюсь объяснить ему, а сама думаю – а что тут нужно? Может, на колени встать? Или это мужчины встают? Пока думала, он и уехал. Виза закончилась. Я ходила мрачная, школу пропускала, закроюсь в комнате, и все на фотографию его смотрю, на фоне гор – он там улыбается, ему-то что?

Открытку потом прислал из Парижа – с видом Монмартра. Пока я лила слезы на слова «Ваш Жан» -мама, вздохнув, сказала – девочка моя дорогая... наверное, это единственный случай, когда твоя молодость тебе помешала.

А Жан женился в тот же год на русской переводчице. Тогда это было равно чуду.

ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

конечно, он был красив. Он был импозантен, как сказал бы мой папа. Остроумен. Фрондер. Образован. Язвителен. Неотразим. Он носил серый костюм с бледно-голубой рубашкой и галстук, узел которого распускал. Если не все девицы были в него влюблены, но уж впечатление он производил на всех. Его танец в маленьких лебедях, в белой майке и шопеновской пачке при кедах... Зал стонал, популярность росла. Я влюбилась сразу – безоговорочно, что время терять? Узнать, где он живет, было нетрудно. Телефон выведала подруга. И вот мы с ней выписывали заячьи петли вокруг его дома, ожидая, когда он выведет свою болонку. Конечно, он нас не замечал. Я звонила ему домой и сопела в трубку. Он читал мне стихи, ему все равно было – кому. Когда подходил к телефону папа, папа рассказывал о ВМФ – он был военным и морским одновременно, и высок и строен, как грот-мачта. Влюбленность расцвела к весне, и он уже стал замечать, что это именно я маячу рядом с его домом, и, однажды, сказал «привет!» и предложил закурить. Счастье было столь полным, что я вписала эти слова круглым почерком в тетрадку в клетку. Там же была вложена его фотокарточка, вырезанная из группового снимка. Следовало бы добавить туда хотя бы кусочек от галстука или, на худой конец, пуговицу от костюма – но нет... не повезло... Распустилась сирень, воздух был напоен одуряющими ароматами, любовь поглотила меня без остатка, я решила писать ему письмо, изучив вечный Татьянин образчик, но...

он закончил школу, поступил в институт, а я все еще училась... Много лет мы сталкивались на общих асфальтовых дорожках, потом умерла его болонка, а несколько лет назад – и он сам. Я все еще встречаю его отца, седого, с военной выправкой, он улыбается мне и прикладывает руку к козырьку ему одному видимой фуражки.

МАРТ

тот март так и запомнился им обоим – ледяной коркой на скамейках сквера, теплым дыханием подземки, шедшим из вентиляционных решеток, сигаретой – всегда одной на двоих – докуришь? и привкусом крови из его рассеченной в драке губы. Они бесприютно мотались по тогдашним переулочкам Якиманки, выходили к реке, поднимались от Храма Марона Пустынника вверх – к кафе «Шоколадница», где, выстояв очередь, можно было до тошноты напиться горячего шоколада и выпить хереса. Расставались часами у радиальной Октябрьской, он – длинный, смешной, зеленоглазый, и она, худенькая, переходящая от слез – к хохоту, тоже – смешная, как и он. Десятиклассники, забывшие обо всем, к ужасу родителей. Он жил на Молодежной, она – на Профсоюзной, и кольцевая Киевская, где они ждали поезда, была вечно сырой, будто простуженной. Грохотали вагоны с желтым теплым светом внутри, и отнимали его – от нее. Она стояла, и ждала, когда поезд вберется в тоннель, и понимала, что завтрашний день прожить невозможно. Такая первая – любовь. Навеки, до последнего дня! И он грел ее пальчики в ладонях, а она утыкалась в замшу его курточки, и кусала от горя медные фирменные заклепки. Он писал ей письма огромными буквами, а когда они поссорились, потушил сигарету о свою ладонь.

Конечно, они расстались.

28 ЛЕТ СПУСТЯ

мальчик поступил в МГУ, а девочка не поступила никуда. Они стояли на Воробьевых, он был чужой и нелепый в пиджаке на вырост, и шутил он глупо, и глаза его были вовсе не зелеными. А девочка перестала плакать, научилась красить ресницы и подводить глаза, у девочки появились другие мальчики, и ей больше не хотелось сидеть в марте на холодных скамейках.

Они встретятся случайно, через 28 лет. Он найдет ее телефон, и позвонит – наугад. А она – ответит. И они встретятся на радиальной Октябрьской, и, избегая смотреть друг другу в глаза, не пойдут ни в Бродников, ни на Полянку... Они будут пить кофе в консерваторском кафе, с прозрачными столиками, а он будет говорить и говорить... о том, что овдовел несколько лет назад, и у него двое дочерей, и живет он один, с котом, и что у него все – ок, и работа в Банке, и вообще – он в призовом секторе, конечно же. Он расскажет ей о хроническом холецистите, донимающем его, и о том, как полезно голодание. Они больше не выкурят сигарету на двоих и не выпьют вина. Расставаясь, она все же поцелует его – но он увернется, и поцелуй придется в плечо.

Через неделю он позвонит ей, пьяный, и будет плакать и кричать, что он ненавидит её, нынешнюю... он будет кричать – ты отняла у меня все! Я жил только тем, что помнил тебя – ТОЙ, шестнадцатилетней... и чем мне теперь жить? Я всю жизнь любил только тебя – скажет он перед тем, как бросить трубку.

Она выйдет на балкон того дома, куда он провожал ее тогда, когда у него были зеленые глаза, посмотрит на дальний шпиль МГУ, закурит – и будет казаться со стороны, что это дым ест ей глаза.

ГАЛОЧКА

Николай Борисович Милов, сын Бориса Исааковича Ройзмана, осужденного по «делу промпартии» и Анны Ильиничны Миловой-Скобейда, учительницы музыки из Нижегородской музыкальной школы им. Глинки, любил Галочку Зайцеву, дочку агронома Алексея Семеновича Зайцева и домохозяйки Лидии Николаевны Федоровой, окончившей Мариинскую женскую гимназию. Николай Борисович был уже студентом Технического Университета, а Галочка училась в выпускном классе средней школы. Дома их, на улице Лядова, соединялись общим двором, и Коля еще подростком, устав от бесконечных этюдов Черни и стука метронома, глядел во двор, по которому маленькая Галочка гуляла, сопровождаемая бабушкой. Пока был жив дед, Колю водили в синагогу на Грузинской. Пока была жива бабушка, по воскресеньям маленькую Галю брали на службу в Благовещенский монастырь.

К тому дню, с которого и начнется рассказ, Коле исполнилось 19, а Галочке – 14 лет. Этот год запомнился нижегородцам жарким и сухим летом, Галочке – первой любовью, а Коле – досрочной сдачей сессии, купанием и походами в Стригинский бор. Этим летом 38 года Коля подаст ей руку, когда она будет выходить из трамвая, но Галочка не запомнит его. В течение двух лет они так и будут встречаться случайно – то в Драмтеатре, то на катке, то в библиотеке – и каждый раз, едва соприкасаясь, будут проходить мимо. Судьба приблизит их друг к другу на открытии памятника Чкалову, 15 декабря 1940 года. Галочка придет на митинг со своим выпускным классом и членами Кружка авиамоделлистов. Коля придет, чтобы увидеть Исаака Менделевича, дальнюю родню со стороны деда, но так и не сможет подойти к нему. В толпе они опять будут рядом, как бы случайно, и Галочка уже обратит внимание на ставшее знакомым лицо, но так и не заговорит с ним.

И только поздней зимой сорокового года они, наконец-то познакомятся настолько близко, насколько это возможно, на новогоднем вечере в Доме офицеров. Галочка впервые выйдет в свет в бархатном, перешитом из маминого, платье цвета бордовой розы и в бледно-розовом шейном платке, сколотом у плеча брошкой с настоящим бриллиантом. Коля, уже инженер Авиационного завода, высокий темноглазый красавец, пригласит Галочку на вальс, и они будут кружиться под духовой оркестр, наступая на нитки серпантина, пить сидро с эклерами в буфете и смотреть концерт художественной самодеятельности. Коля проводит Галочку домой, и даже поцелует ей на прощание руку. Галочка будет смеяться, рассказывая об этом строгой маме. Мама, страдая от нынешней власти, звала дочь «Галочкой советской» и мучилась тем, что не сможет дать дочери даже прививки хороших манер.

Весь сорок первый они будут дружить – взрослый, серьезный человек, и девчонка-подросток, не желающая взрослеть. Пять лет разницы – пропасть. А потом будет Война.

Николай Борисович по брони будет работать на Горьковском машзаводе, а Галочка с другими девочками, повзрослевшими за один день, пойдет рыть окопы в мерзлой земле, после чего до конца войны у нее не будет месячных. Горький будут бомбить, станет очень страшно, и будет голод и будет приходиться по повесткам смерть. В первые же дни войны погибнут почти все мальчики выпускного класса, 10 «б!», и погибнет тот русоволосый Алешка, единственный, кого любила Галочка. И будет завод, куда придется идти из-за карточек, чтобы помочь маме и отцу, и всегда рядом будет он, Николай Борисович Милов. Мама его, Анна Ильинична, начнет давать концерты с фронтовой бригадой и останется жива. Чудом. Галочкина мама погибнет страшно – но не на фронте, а в городе – ее выбросят с подножки переполненного трамвая. Она еще проживет несколько часов – без ног, не приходя в сознание. И Коля Милов, получивший уже чин подполковника, будет нести на плече железный крест, провожая в последний путь Галочкину маму. Коля с тех пор будет рядом всегда – даже тогда, когда Галочка выйдет замуж за генерал-полковника инженерно-авиационной службы, приехавшего в Горький наве-

стить эвакуированную из Ленинграда сестру. Галочка разрушит его, генерала, брак, но станет женой и родит сына, уже в послевоенном Ленинграде. Муж ее умрет от инфаркта – через год. И опять Коля Милов будет рядом. Он будет снимать ей дачу в Комарово, и прилетать из Горького едва ли не каждую неделю. А ежедневно она будет получать от него письма, письма написанные фиолетовыми чернилами, письма, написанные округлым, почти женским почерком. В них будут бесконечные вопросы о ее здоровье, о здоровье сына, и стихи, стихи, стихи...

Когда она решится продать свою квартиру в Горьком, чтобы не возвращаться в этот город никогда, Коля Милов поможет ей с переездом, и они будут сидеть вдвоем в комнате, откуда вещи уже отправлены контейнером в Москву, и она поймет, что он давно ждет от нее решения, и скажет, наконец – «я согласна стать твоей женой», помедлив, добавит – «если ты не передумал, конечно». А он, отвернувшись к окну, скажет, что ему не нужны одолжения, и он не виноват, что на этой чертовой войне погиб Алёшка, а не он.

Они расстанутся, но конца его дней он будет писать ей письма, на Главпочтамт, «до вос-
требования», а она будет забывать получить их. И только в 1979 году, когда Николай Борисович своим чутьем и готовностью к беде поймет, что за диагноз стоит в его мед карте, он приедет в Москву, снимет номер в гостинице «Россия» и позовет Галочку – чтобы проститься. В люксе, выходящем на Москва-реку, они оба вспомнят берег – и Стрелку, и она заплачет, когда он положит руку ей на колени. Она сведет их вместе, так по-девчачьи невинно, что он так никогда и не сделает того, о чем он думал всю жизнь, не женившись, меняя чужих ему женщин. А она, оставшись без него, проживет еще очень долго, и сожжет его письма за месяц до своей смерти.

ВИЗИТ НА РОДИНУ

гвоздь, прошедший сквозь слой битого кирпича, пропорол подошву ботинок от Тестони, Сергей Николаевич дернул ртом, но смолчал. Вот уже битый час Лика, анемичная дева с рысьими глазами и косой, уложенной короной, водила его по развалинам усадьбы, принадлежавшей до революции его прабабке, княгине Верховской. Семью еще до Октябрьских событий разорил прадед, продувший в пух прабабкино приданое, и этот дом в два этажа, выстроенный в стиле северного модерна в начале прошлого века, был единственным. Сам Сергей Николаевич, давно уже Serge Verhovsky, славист Орлеанского университета, приехал сюда из ложного любопытства и был весьма разочарован. Приданная ему в сопровождающие дева, с готовностью отдававшаяся в номере захудалой провинциальной гостиницы, была такая же псевдо-русская, как и все вокруг.

Он брезгливо поддерживал штанины брюк, переступая через гнилье бревен. Пройдя через буфетную, соединенную со столовой, он вышел на балкон бельэтажа. На него смотрело гладкое шелковое озеро, голубой плат с вычурными барочными облаками.

– вот так и прадед, и дед, – подумалось С.Н. – стояли здесь же и смотрели на ту же воду, что текла здесь и сто лет назад... что же изменилось во мне? Он погладил пальцами шершавый крошащийся кирпич, и тогда сжало горло, и он, чтобы Лика не увидела его слез, быстро и неловко спрыгнул на кучу мягкого хлама, и, цепляя лапами пальто колючие головки чертополоха, пошел прямо к воде. Растерянная Лика смотрела сквозь пролом стены, как хорошо одетый немолодой мужчина, стоя на коленях, пьет из озера воду – и не понимала ничего.

ТИНОЧКА И ЛИНОЧКА

мы делим с ними один столик – на троих. Тиночка и Линочка – две милейшие дамы, с первого взгляда видно – ленинградские. Нет, уже петербургские... северные колибри – обе маленькие, хрупкие, удивительно изящные. Говорят, перебивая, друг дружку и так же – замолкают – вдвоем. Образчик манер – прямые спинки, локотки прижаты, ловко пользуются ножом и вилок. Так трепетно внимательны, согласны во всем и неподдельно наивны. Линочка хвалит Тиночку – ах, какая она, Тиночка, рукодельница! Тиночка еле-еле, матово краснеет. Шляпка, и впрямь – чудо. Тиночка сделала ее, нет – сотворила! Из мужской фетровой, и сама настрочила бархотку и завязала из обрезков фетра прелестный цветок.

Тиночка хвалит Линочку – прекрасный врач, Вы не представляете, как её любят пациенты! Линочка улыбается глазами. Ах, Вы знаете! – говорят они хором, и тут же прижимают пальчики к губам, – мимо проходит официантка с тележкой, – мы хотели Вам рассказать одну историю! Но это прилично ли? – спрашивает Линочка. Вполне-вполне, – отвечает Тиночка. – герои этого рассказа давно уже ... – и они поднимают глаза к потолку. Рассказывают «историю» с такой деликатностью, опуская имена, замирая на самых пикантных, по их мнению, ситуациях, что история оказывается невинным анекдотом.

Промокнув уголки рта салфеточкой, они, стеснясь, собирают косточки и остатки еды – Вы знаете, тут такие чудесные собачки! Но мы кормим их в лесу – чтобы бедняжкам не попало!

Кто они – сестры? Подружки? Меня занимает этот вопрос, и я спрашиваю Тиночку – перед отъездом. Ах, говорит она, мне неловко говорить об этом... но мы с Линочкой всю жизнь любили одного мужчину! А он женился на нашей подруге ... А-а-а, понимающе протягиваю я, вас сдружила ревность... что Вы! – вспыхивает Тиночка, – мы так и дружим втроем! Просто Сонечка не смогла поехать с нами...

САНАТОРИЙ

вечер пришел в 3 корпус санатория. Цепочки мокрых следов на мраморе пола. Сдвинута ковровая дорожка, из холла слышны голоса —

— «мам, ну как там Олесечка? кормила? а температура? а Витька где?

— «Сонечка, у меня давление выше, чем в больнице... нет, не хожу! Какие танцы, Соня? Здесь все престарелые... мадам, это я не Вам. Сонечка, нет, это я соседке. Нет, не молодая. Нет, с палочкой. С двумя, Соня, о чем ты? Соня! У меня пульс!»

— «котик, скинь мне на карточку... ну, котик! там такие тунички... ну, котик! я тебе тоже куплю чего-нибудь, ну скинь! Хорошо, займу здесь, но отдавать будет дороже...»

где-то явно курят. Запах табака неуместен, как волейбол в больничной палате. Где-то пьют. Женский смех, дробь каблучков, поворот ключа в замке... Где-то гудит телевизор, слышен низкий мужской голос «а вот директоров мы заставим план выполнять. А иначе пусть идут...»

В теплом аквариуме поста дежурной сестрички светло от лампы под лимонным абажуром. Виден стриженный затылок, явно мужской. Сестричка уткнула глаза в стол, вертит в пальцах песочные часы. Сначала — 3 минуты туда, потом — 3 минуты обратно. Сестричка улыбается. Качает головой. Слушает. Опять качает головой. Сидящий берет ее за руку, стучит по наручным часикам. Она опять улыбается, поднимается со стула, подходит к окну. За окном — сосны, сосны, матовые шары фонарей... Сестричка снимает ключик с доски. Пост оставлен. Песочные часы отсчитали свои минутки, и песок замер пирамидкой. Щелчок выключателя — и корпус погружается в полутьму. Шаркают чьи-то тапки, хлопнула дверца холодильника. Тихо.

В служебной комнате появляется полоска света под дверью, и почти тут же гаснет.

Ночь.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Суровые тетki с лицами усталых бульдозеристов, скрывая под резиновыми фартуками мокрое исподнее, поливают несчастную жертву водолечения из брендспойта. Жертва повизгивает и поскуливает, пытаясь увернуться от разящих водяных струй и слизывает горько-соленые потоки, изумляясь одному, – что так неразумно расточают минералку, которую можно разлить по бутылочкам.

В ваннах, под каплями ржавой воды с потолка, лежат и не тонут курортники. Мужчин от женщин отделяют игривые занавесочки с улыбающимися дельфинами.

Стыдливо кутая чресла в махровые полотенца с вышивкой «Летцы», распухшие от воды и пара отдыхающие плетутся сушить волосы под грозные крики «а пробку я за вам вынимать буду??»

ЛИЗА И ИГНАТ

она сидела на широком подоконнике, который еще сохранился в бывших купеческих домах на ее улице. Улице вернули имя – она стала «Предтеченской», но все равно, по памяти, спрашивающих отсылали на Третью Коминтерна. Лиза смотрела, как шагают вниз фонари, исчезая под горой, уменьшаясь до булавочной головки, смотрела, как сечет снегом по окнам, как наметает сугробы, такие ненужные в городе, в конце ноября, и думала, что завтра опоздает на работу, и промочит по дороге ноги, и непременно на нее будет орать толстая тетка-регистраторша, а больные будут идти весь день – и она будет колоть, колоть, ловко ломая ампулы, набирая в шприц лекарство, ставить капельницы и делать все то, что не в силах сделать за день одна медсестричка, – но другой в поликлинике нет.

Лизу бросил Игнат. Вот, взял и бросил. Просто так – ни за что. Жил с ней два года, приезжал, уезжал в свою Москву, и Лиза сидела на том же подоконнике и ждала его. Ей всегда казалось, что он не вернется, а огромная Москва проглотит его, и он вечно будет жить в таинственном метро, и бродить с ветки на ветку... Ей становилось жалко его, ей хотелось ходить с ним на Стрелку, где Ока сливается с Волгой и смотреть на Макарьевский монастырь. Но Игнат, приезжая, исчезал и в Городе, приходя лишь к полуночи и все сидел потом на крошечной кухне у плиты, которую Лиза топила настоящими и дровами, и грел руки. А теперь он ее бросил. Жить было не для чего и незачем. Как можно было – ужинать без него? Зачем раскладывать диван? Кому нужен был новенький мобильный – если на него никто не звонит?

Лиза все смотрела в окно, и боль стояла в глазах, мешая пролиться слезам. Мело сильнее, даже машины исчезли и начал исчезать и Город. Лиза заметила крошечную фигурку – жавшуюся к двери соседнего подъезда, где был ночной магазин. Снег шел, а она, фигурка, не пропадала. Ой – подумала Лиза, – это же собака! Вот такая же собака, такая – как я. Ничья. Она, наверняка, старая и больная. Я возьму ее к себе, и мы будем зимовать вдвоем. Она будет любить меня, слушать и класть голову на колени...

Лиза выскочила на улицу, добежала до ступенек магазина и сказала черной кудлатой юной дворняге с карими глазами – не знаю, как тебя звали раньше, но теперь ты – Игнат...

КИРИЛЛ И ВАРЯ

автобус плыл по трассе М9 огромной глубоководной рыбой, белой, с прижатыми плавниками, и фары встречных машин чертили на нем радужные полосы.

Варя смотрела в окно и видела мрачную чернильную тучу, то расплывающуюся, занимающую собой весь горизонт, то вдруг сужающуюся до росчерка пера. Сейчас туча будто обмякла, устала, растянулась черным шлейфом, в котором пульсировали маленькие злые молнии.

Водитель включил Шансон, и обольстительный баритон взвыл, терзая душу «без тебя, без тебяя», и Варя, презирая себя, сняла наушники. Голос БГ доносился теперь с колен, и казалось, что он разговаривает сам с собой.

Варю бросил Кирилл. Теперь она – «без тебя», то есть – «без него». Теперь она – Варя. Одинокaя девушка без высшего образования, живущая в городке Олекмина Пустошь на втором этаже блочного дома, дверь направо. И не будет у нее огромной, дышащей соблазном чаши Москвы, а будет глухая бабка, пьяный сосед Витька, работа кассиром в местном супермаркете.

Варя прикусила губу. Автобус тряхнуло на лежащем полицейском – въезжали в Олекмино. Туча, опомнившись, догнала белый автобус, замерла над ним, и, будто с облегчением, вылила весь запас дождя. Варя, спустившись с высокой подножки, оступилась и проехала в новых джинсах по луже. Было так плохо, что это ничего не меняло. Напротив остановки стоял, удерживая равновесие, мотоцикл. Парень в шлеме дождался, пока Варя пройдет мимо, притянул ее к себе и поцеловал в ухо.

– от Москвы гнал, – сказал мокрый Кирилл, от которого пахло кожей и мятной жвачкой. – на, держи! – и он достал из-за пазухи кота с огромными печальными глазами и длинным носом. Кот был похож на эльфа, играющего в лемура. – на, ты же хотела такого? Это – Магда...

– МОЯ? – Варя протянула руки ладонями вверх, – моя?

– наша, – сказал Кирилл.

ТАКАЯ СТРАННАЯ СУДЬБА

– Анька, вставай! – я дергаю дочь за ногу, как повелось с детства, – щекотки она не терпит. – Анька!!! – бесполезно. Иду на кухню. Набираю со своего мобильного ее номер.

– хэллоуууу? – Анька проснулась еще до звонка, но тянет паузу.

– пробки будут, и потом тебя ждёт Никита?

– балин... – это означает – «как я могла забыть? А ты не могла разбудить меня раньше? И вообще, зачем это с Никитой надо встречаться в такую чертову рань, когда мы с ним расстались вчера. виделись.»

Совместный санузел – наглухо. Я маюсь на балконе, переступая ногами, как лошадь.

– я не буду твои Мюсли. – это уже кухня. – не пей кофе! – это уже – мне. – Никаких бутербродов, – это опять мне, – ты хоть ресницы сделай, ма? – это опять мне. Сейчас будет вой насчет «ты чё одела-то??? в этом сейчас только бомжи ходят».

Мы вываливаемся, придерживая железную дверь подъезда. Дверь покрасили, вместе с объявлениями и кодовыми замком. Ключ от машины остался дома. Я покорно иду к лифту, Аня орёт на Никиту по телефону. Выезжаем мы в самый пред-пик, и долго тащимся по Ярославке, чтобы выскочить через Королев на трассу до Сергиева Посада. Никита, в защитной х/б куртке, со значком Че Гевары, ждет нас на обочине, у моста через речку Ворю. Переждав, пока они наконец не нацелуются вволю после 7 часов разлуки, трогаемся дальше. Машина у нас японская, что плюс, и старая – что минус. Никита прислушивается к мотору

– Марина Николаевна, – у Вас стучит! и зажигание... и слышите такой звук? – Никита отклеился от Аньки, которая спит у него на коленях, и занялся мной. Никита знает всё. При этом он ничего не умеет, кроме катания на доске и дрессировки своего питбуля. Впрочем, он плечист, узок в бедрах, а его серые глаза под темными бровями сведут с ума любую женщину.

Подкатываем к Абрамцево, машину приходится бросать среди стада джипов и кроссоворов, и она, бедняга, теряется, как пони среди носорогов. Аня с Никитой вежливо удаляются под сень черемух, цветущих по берегам, а я, закалив сердце мужеством, иду в музей. Я разочарована. Абрамцево в моих воспоминаниях детства было гораздо больше, ярче, и как-то ощущался его дух. Сейчас же я поняла, что вообще не люблю «Девочку с персиками», а хочу смотреть на Мане, и непременно во Франции. Но я брожу, пытаюсь оживить хоть что-то, но вместо этого понимаю, что хочу есть.

С детьми мы встречаемся у кафе, где дико дорого и очередь. Аня ругается с Никитой. Вопрос стоит о детях, насколько я поняла. Аня хочет ребенка, Никита хочет Аню. Анька орет, что у него ноль ответственности, а Никита предлагает сначала съездить в Таиланд, чтобы проверить свои чувства. Выплывает и Анькина безотцовщина, Никита кричит – ну, и вали к своему папаше в Израиль, а я должен быть рядом со своим сыном. Ого, – думаю, – уже и пол определили. Медики, что уж. Второй мед... третий курс. И тут Анька дает ему пощечину, Никита разворачивается и бежит в сторону станции. А мне становится плохо. От жары, от волнения, от сцены на людях. Видимо, я упала резко, потому как, очнувшись, увидела белые шапочки, ощутила мерзкий запах хлорки, а потом меня повезли. В больницу. В машине меня за руку держала рыдающая дочь, слова «мама, прости» застревали в слезах – короче, 2 акт, 4 картина, те же и фельдшер.

В Сергиевом Посаде меня вкатили в облупившийся от дождя барак, и оставили в коридоре. Было пусто, только стонал какой-то мужик с перевязанной платком головой. Кровь капала на пол, образуя лужицу, по форме напоминающую Каспийское море. Анька пулей пронеслась по кабинетам, спугнула врача в приемном отделении. Тот собирался отдохнуть после дежурства со страшненькой медсестричкой, но надо знать Аньку! Через пять секунд врач прыгал около меня, и уже делали ЭКГ, и сестричка катила капельницу, и пахло лекарствами.

– в палатах мест нет, – сказал потревоженный врач, – в коридоре пока полежит. Тут и Никита подъехал. В раскаянии. Ну, врач сник совсем, принял денег по карманам, склонился надо мной уже внимательно, попутно спрашивая Аньку мое фио. Так и сказал – фио какое?

– Марина Николаевна Сазонова, – четче, чем диктор, выговорила Анька.

– кто-кто-кто? – врач уронил очки на протертый до дыр линолеум.

Обошлись без «коня в пальто», по счастью.

– Маринка? – ну да, глазам он не поверил. Нацепил очки, наклонился ко мне. – Сазонова? ты, что ли?

На меня глядели выцветшие Васькины близорукие глаза в белесых ресницах. Те же веснушки, тот же нос, вялый подбородок. Только огненных локонов – этой шапки рыжих пружиннок – не было. Шапочка была. Зелененькая. Как халатик.

– мам, – заканючила Анька, – чего этот козел лечить тебя будет, или я сейчас его удушу?

– у Вашей матери, девушка. – Васька выпрямился, сияя, – гипертонический криз. Она будет лежать теперь в этой больнице. Галочка. – это уже сестричке, – откройте нулевую! – никогда! – отозвалась угрюмая Галочка, – это бронь.

– Галя!

– Василь Василич?

Они попрепирались пару минут, и я поплыла.

– чудная девчушка. – сказал Вася. – кого-то она мне напоминает.

– еще бы, – вяло отозвалась я. – ты себя в зеркале давно видел?

– мама?! – Анька, державшая меня за ногу, остолбенела, – это кто еще? Мой папа – ведущий хирург клиники в Израиле!

– да-да, – вклинился Никита, – мы как раз туда собирались – рожать!

– рожать будете здесь, – извиняясь сказал Василий. – Из «Ихилов» меня поперли...

– за пьянство? – мне становилось все веселее.

– нет, – помрачнел Василий, – я приставал к пациенткам. А это и правда – моя дочь?

– она во втором меде учится.

– а что у нее по гистологии?

– ну... а что? ну я пересдам. – Анька заныла, – это же тоска...

– моя! – сказал Васька, – не, ну говорил я Гальке – не желай спокойного дежурства...

И мы поехали – в нулевую...

ЖЕНЬКА И ОЛЕГ

Женька упала на ровном месте. Место было гладкое, плитка к плитке – как пол в поликлинике. Конечно, когда в декабре идет дождь, а потом идет снег, то потом вообще ничего не идет – все падают. Женька полежала немного, подумала, и решила – надо вставать. И сразу поняла – левой ноги нет. Она заплакала – потому что жизнь кончилась, едва начавшись. Завтрашний тур в Эмираты ей не светил. Прохожие вызвали «Скорую», и Женька ждала помощи, разглядывая ботинки, кроссовки и сапоги. Унылый врач «Скорой помощи» расстроился, что Женьку придется везти в травму, и, стало быть, поход в сауну ему сегодня тоже – не светил.

1 Градская встретила Женьку щербатыми кафельными полами, ее долго возили из кабинета в кабинет, мяли распухшую ногу, писали бесконечные бумажки, а к вечеру, наконец, определили в хирургию, к четырем падшим бабушкам и молодой, но с проломленной головой, тетке. Компания подобралась хорошая, и, получив пятно пшенной каши с маргарином, Женька уснула, забыв позвонить маме и ГМО – Гражданскому Мужу Олегу. Тот сам взорвал спящую палату «Турецким маршем», и проорал в трубку – «ты где? мы сейчас к тебе едем! все везем с собой!» Женька, всхлипнув, сказала, что в 42 палату 4 этажа хирургии его сейчас не пустят, да и всех остальных – тоже. Потому что больной здоровому не друг, не товарищ и не сестра милосердия. Олег ответил обычным «лучше гипс и кровать, чем гранит и ограда», и пообещал прийти завтра. Больше Женька не спала и все смотрела на стрелу Ленинского проспекта, всю в желтых фонарях и красных всполохах машинных огней.

Утром прибежала палатная сестра, за ней прибежал палатный врач, и все засуетилось, будто в шейкере смешали все отделение хирургии. Все бегали, натываясь друг на друга, санитарки елозили тряпками по полу, грохотали кухонные лифты, медсестры, крича «Шестая! на укольчики! Восьмая – на забор крови!» обходили палаты. Потом пришло светило. Молодой зав. отделением, хирург от Бога. «Да ради того, чтоб к нему попасть, люди сами ноги ломают» – доверчиво сипела Женьке в ухо ходячая бабушка.

Хирург, отбросив простынь жестом, каким пианист поднимает крышку рояля, пробежался по Женькиной лодыжке, дал указания, отошел. Вернулся. Еще раз провел длинным и нервным пальцем по ступне, покачал головой и сказал, что оперировать будет сам, завтра, в 9.15. И опять все забегали, а потом всё стихло.

Под обычную больничную вонь, к которой привыкаешь за ночь, Женька опять уснула. Проспала она и обед. Вечером бабушек стали посещать, запахло мандаринами, как под елкой, и загудели жалобы и вопросы – «там болит, тут болит, ничего не помогает, как кошка? полил цветы? чего ела? кто заболел? звонила? а он?...»

Олег не позвонил. Мама причитала по телефону, жалуясь, что у нее давление, и она не доедет в такую даль, неужели нельзя было упасть поближе, и как теперь вернуть деньги за тур... Женька засунула телефон под подушку и стала в уме вспоминать «Сто лет одиночества», восстанавливая хитрые сплетения генеалогического древа семьи Буэндиа.

Прооперировали ее удачно – а иначе и быть не могло, раз оперировал сам Филипп Петрович, которого рвут на части и ждут во всех странах мира, а он все не едет и не едет. «Меня ждал, – Женька плыла в наркозе, – и дождался»...

Они поженились, конечно. Просто иначе-то не бывает. И Женька не удержалась, позвонив из ЗАГСа Олегу – нужен будет

гипс – звони!

ВИКА И ВИТАЛИК

Вика была балериной. Ну, или почти – балериной. Она выходила в мимансе, но все еще жила надеждой на сольную партию. Виталий был лётчиком. ну, или почти – лётчиком. Аэродромные службы тоже носили форму. Виталик мечтал о небе. Встретились они случайно, когда театр оперы и балета выступал в военгородке. Виталий влюбился в хрупкую девочку с бледной кожей, что было такой редкостью в азиатской республике. Девочка аккуратно ставила тоненькие ножки с таким видом, будто бы не шла, а танцевала по бетонным плитам. Среди самолетного гула, напоминавшего гудение гигантских жуков, девочка казалась совершенно неземной. Дюймовочкой из сказки. Виталик стал приходить к проходной театра в те дни, когда Вика была занята в спектакле, и каждый раз приносил розы. Только темно-бордовые розы. Через месяц он получил от Вики контрамарку на «Лебединое озеро» и сидел в ложе, пунцовый от счастья. На вопрос, кого играла Вика в балете, он получил презрительное пожатие плеч и ответ, что в балете не играют, а танцуют. Виталик понял, что она танцевала, а кого – неважно. Программку он потерял. Вика, глядя на кокарду на фуражке и китель, догадалась, что Виталик – летчик, и уже выстроила план их совместной жизни. В воздухе, разумеется. Виталик за штурвалом, она, Вика, в скромном и дорогом костюме – в кресле. Как Жаклин Кеннеди. Оставалось одно – уехать из азиатского городка в Москву. Мечта Вики исполнилась неожиданно быстро – пришла перестройка, аэродром отошел к азиатской республике, и русских летчиков уволили. Вместе с аэродромными службами. Продав задаром Викину квартиру, молодожены приехали в Москву, где их никто не ждал. Тут Вика и узнала, что Виталик – не летный состав. Не командный и не инструкторский. Виталик был диспетчером. Открытие ее ошеломило. Если бы не беременность, Вика бы пошла на курсы стюардесс, чтобы улететь в иностранном самолете и встретить иностранного миллионера. Беременность была тяжелой, и когда Вика родила мальчика, было не до курсов. Виталика она возненавидела еще до родов. За обман. За сбитую, как истребитель, мечту. И тогда они стали копить деньги на квартиру. Долгих 13 лет. Вика сидела с сыном дома, а Виталик вкалывал на гражданке. Платили хорошо, не в пример армии. Когда купили квартиру, стали копить деньги на ремонт. Потом на мебель. Виталик отдельно копил на машину. На гараж. Отказывали себе во всем, но шли к цели. Когда они все купили, а сын вырос, стали копить ему на престижный ВУЗ. Вика вечерами упорно долбила по клавишам привезенного из азиатского городка пианино, вызывая ненависть соседей и мигрень у Виталика. А потом они развелись.

ЧИСТАЯ ДЕВОЧКА

такая она девочка была – чистая. Папа офицер, мама – дома. До 16 лет – по гарнизонам. Балованная. Единственная. Голубые глаза, нос пуговкой. Концерты в Доме офицеров, кружок в Доме пионеров. На катке – только у нее – голубая шубка в талию, шапочка с блестками. Домой идет – на коньках чехлы – цок-цок. Мальчики в школе с ума сходили. Но – дома мама да бабушка. На день рождения – только девочки из класса и один-два мальчика. Чтобы в очках и из музыкальной школы. Как же – кругом ТАКОЕ! Про ТАКОЕ – шёпотом, да и не при отце. Отец то на учениях, то на стрельбищах, а то у любовницы – когда ему воспитанием заниматься? Он строгостью держал. По выходным, если случалось. С ремнем. Убедительно всё выходило. Девочка так и росла – чистая, хорошая девочка. Даже книжки читала, и на ночь косу заплетала и тапочки у кровати аккуратно так ставила – в 6 позицию.

А не уберегли. Даже в город не успели отправить – уже беременная была. Скandal в школе. Отцу на службе – по шее, какой ты командир, раз дочь не можешь в узде держать? Бабка с инфарктом, мать – криком, ремнем – а куда ремень, коли ей рожать скоро? Пацана того, кто «нашу девочку испортил», так и не нашли. Да и не искали. Как копнули – ахнули. Тут и наркота с 14 лет, и компании такие... не из музыкальной школы. Родила она девочку – маленькую, беленькую. Глаза голубые, Ручки в перевязочках. А сама она – так и сгнула. Видали, говорят, на трассе, дальнобойщики. Но врут, наверное.

ПЕРСИК

они сидели за дощатым столом в старом саду. Крымская ночь сходила с гор, принося сухой запах остывающей степи, лаванды и конского пота. Моря почти не было слышно, только печально пропела сирена с катера, и – стихло. Он водил пальцем по узору старой клеенки, и выходило ее имя – Лена. Тогда он поднимал глаза, как бы спрашивая – поставить ли знак «плюс»? и, не получив ответа, опять выводил «Лена». Лена сидела к нему вполоборота. Вся она, за пару дней утратившая московскую белизну, стала сказочно, непостижимо новой – и бретелька сарафана, врезаюсь в плечо, белела на палисандровой от загара коже. Лена подносила к уху закрученную раковину, слушала её, закрывала глаза, и лицо ее становилось незнакомым.

Молчание прерывал только звук падающих персиков – пом... пом... Он будто видел, как спелый персик лопается, падая на землю, и сладкий сок вытекает из него, образуя темную лужицу.

– я хочу персик, – сказала Лена, и он, нырнув под деревья, набрал целую бейсболку и протянул ей. Лена потерлась щекой о шершавый персиковый бок и надкусила его, – ты меня любишь? – спросил она, и он, перегнувшись через стол, молча поцеловал ее липкую от сока ладонь.

ИГОРЬ И НАТАША

обо всем переговорили еще вчера, Наташа все удивлялась тишине, наступившей внутри неё. Куда-то исчезла вечная дрожь, не оставлявшая ее все годы жизни с мужем. Она подумала, что сейчас сама себе напоминает огромного кита, который всплыл и дышит, и чувствует, что спину греет солнце, а под брюхом холодно и сильно ходит океан. Игорь всю ночь, пока она лежала на диване лицом к стене, укладывал вещи – он делал это так же аккуратно и нудно, как жил. Протирал чемодан, гремел плечиками в шкафу. Мерзко шуршала бумага, которую он запихивал в мыски ботинок. «Пожалуй, ума хватит и чистить начать, – с тоской подумала она. Игорь открывал и закрывал дверцы шкафов, и она слышала звуки и узнавала – вот, разохшиеся дверцы бабкиного гардероба в прихожей, а вот – тугое щелканье шкафчиков ванной, вот стук выдвигаемых ящиков стола... – когда же он закончит, вот уж, правда – как будто режет меня по частям...» Во время прежних их ссор Игорь хватал сумку, сгребал в нее что-то совершенно бессмысленное, забывал часы, документы, права – и уходил, всаживая дверь так, что всегда с гвоздя падал стальной рожок для обуви. Тогда было ясно – бунт. Буря. Эмоции. Сейчас было понятно – развод. Уход не к любовнице, не к мамочке, а просто – он уходит от нее. И никогда не придет назад. Ей было страшно за те десять лет, что они жили, узнавая друг друга буквально на ощупь, двигаясь навстречу, и ей мнилось – вот-вот, они повторят друг друга – как рука и ее отпечаток. Сейчас она оставалась отпечатком, и было ясно, что никакой другой руке он не подойдет.

– ну, я пошел, – сказал Игорь.

– пока, – ответила Наташа.

Дверь закрылась тихо, и щелкнул язычок замка.

МАЙ

май выдался странным – переодетым июнем, что ли? Яна, проспав подъемные часы – преодолеть пробки – смысл жизни! бегала по квартире с зубной щеткой во рту, трамбовала в сумки ненужные вещи, вспомнила, что не зарядила аккумуляторы и холодильная сумка бесполезна. Тут же зазвонил телефон – мама на даче вспомнила, что у нее кончилось лекарство, а коту нужны капли от клещей. Взыв от собственной беспомощности, Яна свистнула изнывающим от тоски Бою – гулять! и ее ирландский сеттер, волнуясь и изгибаясь телом, притащил поводок. Конечно, карабин сломался. Пока Бой гарцевал по травке, обходя битые бутылки, Яна спешно проводила «ТО» своей старенькой Kia Sportage... резина на передних колесах была летняя, на задних – всепогодная. Прорвемся, подумала она. Поедем медленно и задумчиво... Услышав лай Боя, Яна помчалась на звук – так и есть! Сцепился со своим вечным врагом, нинсеменовны фоксом Гавриком. Пока разнимали псов, пока Яна рыдала над прокушенным ухом Боя, время неумолимо шло к полудню. Уже тринадцать раз звонила мама с сообщением, что у нее начался инфаркт, и просила не забыть сырокопченой колбасы. Потом пропали ключи от машины, потому что Яна оставила их в зажигании. Пока она загружала машину, мазала зеленкой собачье ухо, отвечала на вопросы соседки – а вы надолго? а когда вернетесь? а как ваша мама себя чувствует? пока она стояла в очереди в супермаркете, забыв про колбасу... в пробку она встала наикрутейшую. Просто на выезде из города – замерла и встала. Ощущая запах начавшего протухать мяса, Яна вышла из машины, и вместе с другими дачниками, сложив ладошки домиком, вглядывалась в серебряный, блестящий стеклами, хвост. Дракон какой-то, подумала она. И чего мы больше на электричках не ездим, как раньше? С котлетами в эмалированном бидоне и давленными помидорами в авоське... Драконий хвост дернулся, зафыркал облачками ядовитых выхлопов, и пополз, пополз – в область. Машину водило из сторону в сторону, Яна про себя бормотала все, что привыкла считать молитвами, и потела от ужаса. Телефон, по счастью, она забыла в сумке, лежащей в багажнике.

На 63 километре машина заглохла. Сняв ногу с педали, Яна упала лицом на руль и зарыдала. Несчастливая жизнь, бесконечное бабье расстройство! Мимо мчались счастливые жены, а через задние стекла машин приветливо махала листьями рассада. Блин! Блин и блин!!! Буду сидеть здесь, пока не кончится лето, и мама не пройдет мимо меня пешком, катя тележку с никому не нужными банками соленых огурцов. В окно постучали. Согнутым пальцем – как в дверь. Тук-тук. А потом еще раз – тук-тук? Сейчас убью, подумала Яна. Наверное, гаец. Штраф, и полная безнадега до аванса. Стучавший оказался молод и мил. В бейсболке. Глаза за стеклами – не разглядеть. Девушка? Ха, девушку нашел, Яне было больно за бесцельно прожитую молодость. Девушка? У вас есть трос?

Троса не было. Дымчатоглазый куда-то сходил и принес яркий, как апельсин, трос. Вы сможете удержать машину? спросил он, и, не дождавшись ответа, посигналил ей габаритами. Они дотащились до дачи к вечеру, когда в затихающей листве взрывным хором запели соловьи, перекрывая Стаса Михайлова. Прервав мамин крик, ой, я уже обзвонила все больницы и морги, Яна выгрузила сумки на траву и легла на спину. Выпущенный на волю Бой так долго писал на соседскую калитку, что вышел старик Марченко и пригрозил заставить всех красить ему забор.

Спасатель снял дымчатые очки и лег рядом с Яной. А звезды скоро будут? спросил он, я люблю майские звезды. И уснул.

Утром они проснулись почти семьей. Мама, подкрасившая по этому случаю губы, жарила яичницу и смотрела на спасателя влюбленно – он успел настроить телевизор, поменять проводку на веранде и починить газонокосилку. Яна сладко потянулась, пролила кофе на скатерть и вдруг крикнула на все садовое товарищество – ВАУ! и пошла сажать помидоры.

АНЯ И НИКИТА

ты пойми, – Аня рисовала и зачеркивала квадратики в школьной тетрадке, – пойми... ну, не сердись... ты же сильный... тебе будет так лучше... ну, нам всем будет лучше – так.

Он курил, сидя вполоборота к ней и глядел в окно, где мягко падал снег, хлопьями, и синички в серых сюртучках клевали пшено из кормушки. Он думал о том, что нужно бы сала повесить, да где его взять, ведь оно продается соленым? Аня тронула его за локоть —

– Никит, – он не обернулся. – ну ты совсем не слушаешь меня? Я к тебе хорошо отношусь, понимаешь? Я даже люблю тебя, Никит. Но ты пойми, я его тоже люблю. Мне же тяжело! Я же обоих вас люблю, Никит! Ну, скажи что-нибудь, я ведь с тобой разговариваю.

Он загасил окурочек в пепельнице. Пепельница была смешная, голубая, резиновая и небьющаяся, с надписью по борту – Michelin и толстячком Bibendum`омом на доньшке.

– Никит, – зазвонил сотовый, Аня вышла на кухню, где говорила недолго и нежно, – все будет хорошо, ты встретишь другую, и ...ну мы же совсем не подходим друг к другу, правда?

Он повернулся, посмотрел ей в глаза, молча высыпал на стол окурки, а саму пепельницу саданул об пол. Она подпрыгнула пару раз и остановилась. Никита нагнулся, поднял ее, подошел к окну – открыл – и бросил вниз. Синицы вспорхнули, загудела сигнализация, хлопнула дверь подъезда.

– ненавижу... – протянула Аня, – я ненавижу тебя!

Не дожидаясь, пока слова станут криком, он спокойно снял с вешалки куртку, похлопал себя по карманам, бросил на стол ключи и ушел.

ЛЮБОВЬ БЫВАЕТ РАЗНАЯ

Ленка позвонила, когда у меня спектакль кончился, и попросила встретиться с ней. Пока я снимала грим, переодевалась, все думала – я-то зачем ей понадобилась? Мы дружили так – в пол-ноги... Лена Бадаева, первая красавица нашего театрального училища, прима, гордячка, которую иначе, как Лиз Тейлор и не звали – за её глаза. С Леной мы не виделись лет 7, с дипломного спектакля «Дама с камелиями». Помню, как она в вишневом бархатном платье выходила на поклон, и зал ревел, а Ленку за цветами и не видно было.

В кафе за столиком сидела незнакомая женщина, лишь фиалковыми глазами напоминавшая ту, прежнюю Бадаеву. Заказали кофе, Лена закурила и, приблизив лицо ко мне, спросила —

– что? Изменилась? Не узнать?

Я промолчала, а Лена говорила и говорила, и я не перебивала её.

– ты знаешь, я фаталисткой всегда была. Думала – как суждено, так и будет. Помнишь, Марка Полянского? Ну, двумя курсами старше? Помнишь – кто не помнил... Все с ума сходило. И я – сошла. Красиво все было – думала, на всю жизнь. А потом он уехал. И все в один момент – как в пропасть. Будто жизнь мою – выключили. Вниз падать – трудно. Из театра уволили – отказала главному, да еще грубо – нашли сразу, к чему придраться. И пошло-поехало. Пила запоями. Сейчас квартиру снимаю в Бирюлево, а работаю... – Лена вздохнула. – продавщицей. Ну, вот... еду я как-то с работы, а у меня тачка старая – японка, праворукая – ну, встали в пробку. Понимаю – часа на два, не меньше. Окно открыла – курю, по сторонам смотрю. Чувствую – взгляд чей-то. А я уж отвыкла-то – от взглядов. Поворачиваюсь – и сердце вниз. Рядом со мной стоит крутая тачка, а в ней – сам Полянский. Прежний. Даже еще лучше. Видно, что не здесь живет, не бедствует. Он музыку перекрикивает – Ленка! Узнала? Вылезай давай, хоть поболтаем, раз такая встреча. Ну, я на полусогнутых – да еще усталая, одета хрен знает как – ну, судьба, значит. Обнялись —поцеловались, он и говорит —

– ну, ты как? В профессии? Что-то я ничего о тебе не слышал... Я, правда, в Штатах живу, но мы там тоже интересуемся...

Тут у меня телефон зазвонил, я ответила, а Марк потом и вырвал телефон. Хочу, – говорит, – фото твои, любовь моя, посмотреть... Может, ревность проснется... Шутит... А у меня там – магазин наш, да девчонки мои, какие-то корпоративы – ну, мура обычная. Он листает фото, а сам спрашивает – это чего? Сериал из жизни рынка? Что за убожество? ты в чем снимаешься? Тут меня переклинило от злости, говорю – да, сериал... сейчас полный метр делать будем. Между прочим, Тиграян режиссер, и у меня – главная второго плана. Марк сразу замолчал, потом на машину посмотрел, на меня – ты чего, в роль вживаешься? А я, так небрежно – ну да, ты же знаешь, как он с актерами работает. Марк дальше листает, а там... я тяну телефон к себе, он к себе... А это спрашивает – тоже из сериала? А там Никитка мой... Я все фотографии с собой ношу, скучаю по нему – кошмар. А там с грудного – и до этого года – первый раз в школу пошел. Марк мне в глаза смотрит, а я понимаю, сейчас в обморок просто упаду, и всё. Машины стоят, духота... Чей ребенок – спрашивает. Я молчу. Чей? – говорит. Я – мой. Тут он фотку Никиткину, где он совсем маленький, увеличил – и тихо так – зачем ты врешь, Лен? Я ж эти обои на всю жизнь запомнил... А он на них мне все цветы рисовал, зайчиков... сердечки... мы у него тогда жили, в общежитии. И меня потом не выгнали, я еще год жила. Ну, короче, понял он все. Где, спрашивает, сын? Я хочу его видеть... А у самого на заднем сидении две такие телки сидят – куда там... Меня зло взяло, кричу-это не твой сын, и я замуж выхожу, сама реву... тут все и поехали, я в машину, дверцей саданула, лечу – сама не вижу куда. А он, наверное, за мной хотел, перестраивался... и под грузовик. Менты потом сказали – сразу погиб, не мучился.

Я сидела, совершенно потрясенная – поверить не могу. Лена опять закурила, и сказала —
– я сколько лет мечтала – снимусь, получу хоть Нику, и выйду на вручение с сыном...
Я ж замуж так и не вышла – чтобы Марк знал, чтобы не подумал...
– где Никита сейчас? – перебила я Лену.
– в Ярославле, у бабушки, мне здесь как?...одна еле тяну. Но ничего, сейчас за ним еду.
– там будешь жить?
– нет, – Ленка помедлила, – мы в Штаты летим, к матери Марка. Она одна все знала.
Я, когда забеременела, и Марк меня бросил, сразу хотела аборт... а она – не смеешь моего
внука убивать, никто тебе права такого не давал. Так мы с ней эти годы и общались... А теперь
позвонила – приезжай, говорит, хоть сына никто не заменит, – Ленка закусила губы. – но будет,
ради кого жить.

ПЕТРОВ И ТЁЩА

Петров тещу любил, а теща Петрова ненавидела.

– Вы, – говорила она, – Генрих, мировое зло!

Теща была дочерью профессора и выражалась туманно. Петров с тещей сидели за обедом и ели вчерашнее картофельное пюре с куриными наггетсами. В прежней жизни Петрова были занавески в клеточку и гороховый суп с грудинкой. Котлеты прежняя теща звала битками и добавляла к ним кисло-сладкую подливу. Рубашки были выглажены и жили в стопочках, а носки свернуты в улитку попарно. Дома жила теплая кошка и Малахов в телевизоре. Нынешняя жизнь была интеллектуально насыщена, но бедна насчет удобств.

– Вы, Генрих, ни на что не способны! – безапелляционно заявила теща и толкнула Петрова в бок, отчего он уронил наггетс.

– Это как сказать, – возразил Петров, – все-таки – четверо детей...

– Я не ЭТО имела ввиду, – сделав упор на «это» прошипела теща.

– А я – ЭТО, – опять возразил Петров и успел вилок поддеть маринованный помидор.

– Кстати, а кто Вас так называл – Генрих?

– папа, – всплакнул Петров, – он Хайне любил.

– Вот и читал бы себе, чего ребенку жизнь портить. Тем более – внукам. – теща намекала на отчество.

Тещин любимый кот Гоша, спавший на костистых и холодных тещиных коленках, фыркнул во сне. Петров, изловчившись, потянул его за хвост. Разбуженный кот укусил тещу за палец и свалился под стол.

– вот видите, Петров, – сказала теща, переходя на личности, – Вас даже животные не любят.

Петров несильно пнул под столом Гошу. Кот была лядащий, дурной окраски и гадкого нрава. Он писал Петрову в чешскую фетровую шляпу и лакал выставленный женой ночной петровский кефир.

– ну-с, откушали-с? – съязвила теща, спешно отодвигая от Петрова мисочки с едой, – может быть, соизволите поработать?

Петров работал надомником и всячески уклонялся от бисероплетения. По причине несовместимости его, Петрова со всякой работой, и происходили конфузы и безвременные разлуки. Все жаждали денег, а он – славы. Потому он тайно писал сценарий в Голливуд, но никак не мог перевести его на английский.

– О! – завопил Петров, – Гоша залез в Ваш ридикюль!!!

Теща немедленно перестроилась, Петров цапнул холодеющую котлетку и порысил в сортир переписывать сценарий. Теща постучала тапком в дверь, махнула рукой и села нанизывать мелкие и скользкие бисеринки. Кот, урча, залез в гардероб и пристроился к петровским выходным брюкам.

ДИАЛОГИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Зинаида Павловна Стемпневская, миловидная актриса, из тех, что лицо до сих пор узнают – мать.

Ирочка Стемпневская, второй режиссер на «ФИЛЬМДВА», – дочь.
внуки, собака, муж.

21 сентября. Московская квартира Стемпневских.

– мам?

– Ир?

– мам, мы у Грановских, в Загорянке. Мам?

– шашлыки?

– ну, конечно. Барбекю, камин... дети гуляли.

– одеты тепло?

– нормально! Мам! Они принесли щенка...

– пусть отпустят.

– мам, ну он маленький же?

– пусть подкинут Грановским.

– мам?

– нет.

– мам?

– Ира! Ты же знаешь, что я актриса!

– на пенсии, мам...

– и что? я работаю! когда-нибудь и ты будешь на пенсии!

– мам, я не доживу... ну возьми собачку! Он маленький совсем. В смысле размера. Хорошенький. Спаниельчик...

– нет.

– Мы назвали его – Одиссей.

– хоть Телемак. Нет, нет и нет. Нет! Я люблю собак, но после смерти Чапы! И никаких кобелей в доме, ты знаешь мой принцип...

– мам, ты знаешь... а Мишка тебе его уже привез.

– Грановского?

– нет, мам. Одиссея. У тебя под дверью, в корзинке. Он не жрал, наверное, ты его покорми, а?

– Мишку? Твоего мужа накормить невозможно!

– щенка, ма...

ПРОШЕЛ ГОД. 21 СЕНТЯБРЯ, КВАРТИРА СТЕМПНЕВСКИХ

– Зинаида Павловна, я устал Вас умолять!

– Аркадий Ефимович, говорите, что хотите – я Вас не слышу!

– Зинаида Павловна! Прекрасный вариант – мягкая осень, Поволжье... лучшие площадки, повезем Ваш дивный «Карманный театрик», Вы – и Куделевский. Дуэтик. На «ура». Даже постановочную часть брать не будем, обойдемся смышленным парнишкой... это же сумасшедшие деньги, Зина ... – почти стонет в трубку. Зинаида Павловна лежит на полосатой софе, скрестив ноги. На атласных подушках, украшенных витыми золотыми шнурами с кистью, возлежит чудовищного размера псина, о сходстве которой со спаниелем напоминают только курчавые длинные уши. Зинаида Павловна держит на животе жестянку с датским печеньем.

– Аркашка, – печенька летит в сторону собаки, – ты знаешь мои условия? Знаешь?

– конечно, мой ангел, целую твои дивные ручки! все в лучшем виде! Никакого багажного отделения! В багажном поеду я сам! Она поедет в купе, как королевишна! Специальный рацион! Даже ошейник куплю с ГЛОНАССом! – кому-то в сторону, – ффу... уломал! идите, теперь сами эРЖэДе уламывайте... она без своей суки Дэйзи шага не сделает! Еще и на все спектакли будем таскать! да не Зинаиду! Суку...

– дочь? – Зинаида Павловна говорит, держа щекой телефонную трубку, – мы с Дэйзи едем на гастроли... нет-нет, моя дорогая... внуки могут побыть и с гувернанткой... а я тебя просила? нет?! И своему Мишке скажи – чтобы цветы ездил через день поливать! Адё!

УИК-ЭНД

К четырем пополудни Новая Рига давала пятибалльные пробки, и гости стали собираться. С соседних дач было слышно, как хлопают двери, кричат дети. Где-то спешно тарахтела газонокосилка, будто захлебываясь. Сильно парило, ждали грозы.

На втором этаже коттеджа разговаривали тихо. Мужчина устроился на подоконнике, вполоборота к саду, женщина сидит на углу дивана и вертит в руках сотовый.

– Аня, Аня! – мужчина старается говорить спокойно, – Аня! Пойми ты наконец! Никакого тупика нет, мы живем, как жили! Разве есть причина что-то менять?

– Андрей, ты просто не слышишь меня. Я говорю в пустоту все эти семь лет. Я говорю со стеной.

– Ань, мы все говорим и говорим об одном и том же, – мужчина прислушивается к звукам в саду, – мы же с тобой еще тогда, в самом начале... мы договорились, что не будем рушить семьи. Аня, ну ты пойми меня тоже! Мы с Олей так долго ждали ребенка, Олечка такая слабая, тонкая, нервная... Неужели ты хочешь, чтобы она пострадала?

– да, хочу! – Аня уронила телефон на ковер, – я хочу! Я хочу, чтобы и она страдала, как я! Пусть и живет, как в аду! – женщина почти кричит.

– Аня, я не верю тебе. Ты говоришь и сама не понимаешь, ЧТО ты говоришь! А Сережка? Что будет с ним? Мы друзья со школы, это что-то да значит?

– а это что-то значило, когда ты меня соблазнил? Тогда? Когда твоя Олечка была в роддоме?

– Аня, ты перешла черту... – мужчина спрыгивает с подоконника, идет к двери. Случайно, каблуком, давит сотовый, хочет что-то сказать плачущей женщине, но уходит.

около гаража пахнет бензином и скошенной травой. Женщина укладывает сумки, возится с машиной. Мужчина ходит за ней. Они говорят громко, женщина часто хохочет, мужчина, наоборот, мрачен.

– Оля, – он пытается ухватить ее за локоть, – Оля, ну давай поговорим наконец!

– Сережечкааа, – женщина уворачивается от него, – мы уже поговорили. Сереж, ну мы почти каждый день видимся, мы на выходные к вам ездим, чего еще? У нас идеальная квадратная семья. Четыре человека – по углам.

– да, но не забывай про троих детей в центре квадрата!

– и что? Кому плохо? твоим близняшкам? По-моему, у них идеальная мать, идеальный отец, вообще все сложилось на удивление! Твоя курица занята детьми, ты занят мной, а мой муж занят работой. Все счастливы. Ну, я-то – точно...

– Оля, – мужчине удается схватить ее за локти, – Оля, я не могу без тебя. Понимаешь? Я скучаю, как безумный просто. Я ничего не вижу... я все время боюсь потерять тебя... я боюсь, что Аня найдет твои фотки, я все смс-ки стираю, Оля... у меня только твоя записка, ну помнишь, та – из роддома? Помнишь? Оля, ну разведись с ним, а? У нас же сын растет, Олечка...

– Сереж, – женщина захлопывает дверцу, – ты нудный такой, я сама удивляюсь, что я могла найти – в тебе? Ну, чего ты нудишь? Какая, на хрен любовь? Куда разведись? Ты сыну своему даже помочь не можешь... вот. я разведусь, мы сядем, футляр от твоей скрипочки откроем и будем милостыню просить! Я к хорошей жизни привыкла! Это я еще – вам с Анькой помогаю, блин! Отвянь, надоел уже, люблю-люблю, – женщина передразнивает его. Нет любви и не было никогда!

– ты это всерьез? – Сергей смотрит на нее, кусает губу, резко отталкивает Олю от себя и уходит.

на дорожке, ведущей к воротам, стоит серебристый джип, на багажнике закреплены детские велосипеды. Женщины суетятся, бегают дети. Хорошенькие близняшки, пяти лет – Маша и Саша, заняты огромным, неповоротливым псом, похожим не пиринейскую горную собаку. Тот блаженно позволяет чесать себя за ухом и даже целовать в нос. Мальчишка постарше, качается в гамаке, уткнувшись в айпад. Мужчины курят, хозяин дома тянет пиво из банки. Все оживлены, но чувствуется усталость после выходных. За забором слышно, как отъезжают, одна за другой, машины.

– Ань, всё, давай, собирай девиц. Давай, в самые пробки же попадем! Всё взяла?

– Сереж, не волнуйся, – хозяйка стоит на крыльце, – мы за вами следом, если что – звони, захвачу, передадим.

– не последний раз видимся, – говорит Андрей, – вы насчет отпуска, как? Может. все-таки снимем коттедж, как в то лето?

– не знаю, – тянет Аня, – Сережка мечтал на дайвинг куда-нибудь махнуть, а? Сереж?

– мало тебе моря в Марбелье, – смеется Оля, – а то давай, по приколу – задичим куда-нибудь во Владик, а?

Наконец, девочки, рыдающие от разлуки с собакой, усажены, все проверено тысячу раз, все расцеловались, и машина трогается.

– я не понимаю тебя, – Андрей раздражен, – зачем ты все время их приглашаешь? По-моему, можно уже заканчивать все эти идиотские школьные дружбы! Такая скучная пара...

– да брось ты, – Оля сломала ноготь, – другие, что ли, лучше? Этих, по крайней мере, мы знаем... и дети дружат...

– ну, разве это, – Андрей смотрит на Олю, – разве что только дети...

Начало формы

выехав на трассу, машина встает в пробку. Душно. Бьется в стекло залетевшая муха, кондиционер барахлит. Близняшки ноют одновременно – пить, писать, кушать. Женщина за рулем. Она молчит. Мужчина, сидящий рядом с ней, вынимает пачку сигарет.

– не кури, дети в машине.

– прости. я забыл.

– ты никогда ничего не помнишь.

– зато ты – не забываешь.

– позвони маме, скажи, что мы встали в пробку, пусть не ждет.

– сама звони.

– я потеряла сотовый.

– на даче?

– наверное.

Мужчина набирает номер на своем телефоне.

– Оль? – на том конце трубки слышен звук воды, текущей из крана. Мужчина представляет себе, как она стоит, держит телефон, зажав его между щекой и плечом, и ее волосы убраны за ухо. Он даже видит ее прозрачные русалочьи глаза, загорелую шею и смешную сережку в виде золотого саксофона.

– ну? – на том конце трубки его слышат. – чего забыли?

Мужчине нужно сказать одно слово «телефон», а он говорит – «тебя. Я забыл тебя».

В ВАГОНЕ МЕТРО

поздний вечер, вагоны полупусты. Напротив меня сидит парень, лет двадцати пяти, бледный, с вытянутым лицом. По взгляду видно – приехал недавно. Брючки на нем узенькие, синие, в обляпочку. Он снимает с них – какой-то невидимый глазу пух. Снимет пальцами, отпустит – летит пушинка. Ботинки с длинными носами, лакированными. Чистые до блеска. Он ногу вытянет, посмотрит на них, порадует. Вид у него надутый от важности. На следующей станции влетает деваха, про такую скажешь – доярка. По тому, как она кидается к нему – видно, что женаты, и женаты недавно. Румянощекая, нос картохой, из под шапки кудряшки. Брови только что наведены, по моде – широкой полосой. Глаза – пуговики. Смешная такая, толстенькая, сапожки даже по шву лопаются. Юбчонка – кримплен в горох – такое уж сколько лет не носят... Парень тут же достает смартфон и утыкается в него – видно, играет во что-то. Девчонка открывает рот и орет ему в ухо, показывая поочередно на зубы – верхний и нижний. Её палец нащупывает зуб, качает его – она хочет показать парню зуб, но тому стыдно. Он – в смартфоне. Она кладет ему голову на плечо. Он движением плеча голову скидывает. Тогда она залезает к нему в игру, тычет пальцем, смеется. Он досадует, передает смартфон ей. Сидит, смотрит в проносящийся мимо окна тоннель и то надевает, то снимает обручальное кольцо с безымянного пальца...

ЧУЖИЕ ОКНА

после грозы пошёл дождь, нудный, мелкий, прибивший березовую пыльцу и городскую пыль. Во дворе дома, неожиданно пустом перед выходными, стояла машина. Дворники ёрзали по стеклу с противным скрипом, и сидящая в машине женщина смотрела на окно четвертого этажа, третье справа, от угла. Окно было освещено, и был замечен силуэт мужчины. Женщина смотрела в окно и машинально крутила обручальное кольцо на безымянном пальце. Мужчина, сидевший рядом с ней, смотрел на ее профиль, и видно было, как шевелятся его губы. Женщина молчала. Мужчина попытался взять ее за руку, она повернулась к нему, он обнял ее. Они долго сидели так – молча. Потом женщина вышла из машины, не заметив, что наступила в лужу, и пошла к подъезду, не оборачиваясь. Вспыхнул свет сразу в двух окнах четвертого этажа – в первом и втором, от угла. Погас свет в третьем справа, и мужской силуэт исчез. Свет в комнатах горел ярко, было видно, как две фигуры хаотично движутся, будто танцуя.

Сидящий в машине мужчина смотрел в эти окна и ждал. Дворники действовали ему на нервы, и он выключил их. Дождь пошел все сильнее, и скоро через потоки воды была видна только одна маленькая желтая точка. На четвертом этаже. Справа от угла.

МАТЬ

Надежде Илларионовне сровнялось 87 лет этой весной. Теперь уж не шлют открыток, а так, звонят – мам, привет; баба – здравствуй, – и ничего в руках не подержать, не перечесть прыгающих строчек. Она глядит в окно с 22 этажа дома, который, как ей кажется, качается одиноко и страшно среди таких же великанов. Внизу не видать ничего, а в небе – ветер несет ворон и вертолеты. Она и все это видит в тумане. Болит спина, дергает в виске беспокойная жилка, сердце все время падает, как в пропасть – уух, ууух... Надежда Илларионовна меряет шагами квартирку, поправляет горку подушек на кровати, присаживается и засыпает. В сонной дремоте идёт она по лугу, тащит на веревке коровенку, отощавшую после тяжелого отёла, навязывает её к колышку и засыпает во сне от усталости. Дом ей снится, большая пятистенка, с русской беленой печкой, вечными горшками с кашей, да с крынками с варенцом. Двое сыновей ее, все погодки, вечно на дворе, то с отцом, пьяницей, в редкие трезвые часы его, а то с соседскими ребятами. Только третий, малый, с нею, рядышком. Беленький, ладненький, все к мамкиной юбке жался.

Дремлет Надежда Илларионовна, да того не знает, что этот, младший, кто забрал к себе мать из исчезнувшей деревни, курит сейчас на балконе и не знает, как сказать матери, что вчера сгорела их изба от майского пала и погибли братья, уехавшие на охоту. И он промолчит, и они так будут живы для неё – все трое.

АЛЕВТИНА

умирала Алевтина тяжело. После инсульта, свалившего ее в огороде, она так и не встала – все лежала в дальней комнате в избе, изнемогая от беспомощности и немоты. Дети, чтобы не лишиться пенсии, не отдавали ее в Дом инвалидов, ухаживали сами, хоть и кормили скудно, да держали постель и саму бабу Алю в чистоте. Проваливаясь в небытие, Аля все видела себя как бы со стороны – вот, она девчонка совсем, в ситцевом сестрином платье, сидит на лугу, у уже смётанного одонка. Мать спит, укрыв лицо платком, от нее тяжело пахнет потом и луком, а по пестрядевой юбке ползает паучок и, цепляясь за соседнюю былинку, начинает крепить радиальные нити для будущей паутины. Вот мать пошевелилась во сне, перевернулась набок, юбка задралась, и все паучьи труды – даром. Але жалко паучка, жалко мать с ее посеченными осокой ногами, жалко за крохотный шрамик на загорелой ноге – это от порез от косы, с прошлого года. Алевтина сама засыпает внутри своего сна, и снится ей теплое дыхание, пахнущее травяной отрыжкой, а щека ощущает касание влажных, замшевых губ...

«Лошадь, – подумала Алевтина, – Муська... Лошадь назвали Муськой в честь конюха Мусы, ходившего за лошадьми после войны. Хроменький после ранения, Муса любил лошадей, покрикивал им гортанно, и всегда брал в ночное колхозную ребятню. Когда разыскали его через военкомат, приехала за ним сухая женщина в черном, поддерживаемая под руки рослыми молчаливыми мужчинами, и Муса, подпрыгивая в кузове полуторки, уехал с ними к себе на Родину. Лошадей после него пытались держать, а – не вышло. Не управлялись бабы. Так и остались Муська да Мальчик.

Влажные губы были близко от лица, Алевтина силилась погладить лошадь, но даже во сне – не могла.

– Мам, лежи ты ровно! – дочь протирала лицо тряпкой, смоченной чем-то кисловатым, – Вить! – крикнула она в глубину избы, – иди, бабу поворотить надо, у меня уже руки отсохши...

Алевтину ворочали, переодевали, все унижительные процедуры давно уже не смущали её, а только вызвали желание заплакать. Пришла соседка, которую Алевтина терпеть не могла, и начала с приторной улыбкой кормить её кашей. Каша была холодная, комковатая, и стояла в горле. Потом приходила фельдшер, колола в исчезающие вены, зачем-то мерил давление и писала в тетрадь, положив ее на фанерную тумбочку.

После укулов Алевтина опять погрузилась в привычную полу-сон – полу-дремоту. В избе затопили печь, стало жарко, и пахнуло горячим воздухом, обожгло рот и опалило брови – маленькая Аля увидела себя у горячей церкви. Кто-то держал ее ладошку в своей – наверное, бабушка. Аля слышала, как воют в голос бабы, как падают на колени. Поодаль стояли мужики, поплеывали лузгу, отчего на белый снег ложились черные отметины. Пламя вырывалось из окон, и, казалось, что церковь летит, дрожа, вверх. Обрушилась звонница, и рухнул большой колокол, упав внутрь, со звуком страшным и торжествующим. У Али заложило уши. Бабушка развернула ее лицом к себе, а сама крестилась истово и все шептала «Господи, прости их, Господи, прости их...»

Церковь потом долго дымилась, пахло гарью, а бабки, вместе со старичком настоятелем, все ходили по пожарищу, выискивая уцелевшее. Только одна икона осталась нетронутой огнем – «Всех скорбящих с грошиками». Ее-то и спрятала Алина бабка – а где, не сказала, только дома и по сей день пахло горелым, но по-церковному – вроде как со свечами да ладаном.

Алевтину уже не крестили. Отца Николая, настоятеля Храма, расстреляли в 20-е, тут же, у кладбищенской ограды. Седенький, без скуфейки, в белом подризнике и босой, он казался совсем бестелесным и невидимым на первом выпавшем снегу, и только нателный Крест, который батюшка так и не отнял от губ, обозначал его присутствие на земле. Когда жаждали выстрелы – пробился сквозь тучи солнечный луч и остановился на мгновение на Кре-

сте. Матушку с детьми увезли на телеге в район, и Храм так и стоял, разрушаясь медленно, и только дарил мальчишкам, ворошащим кирпичную пыль – то крестик, то мелкую копеечку, то осколок лампадки.

И снова будили бабу Алю, поили жидким чаем, от которого еще хуже сохли губы. Дочь сняла с головы платок, попыталась причесать жидкие волосы гребнем, да только драла больно. Баба Аля вскрикнула, – а дочь слышала только глухой стон.

– ну, не ндравится тебе, ляжи, как знаишь, – она подоткнула одеяло, приоткрыла форточку, отчего в комнату намело снегом и свежим огуречным духом, помахала полотенцем, как пропеллером, закрыла окно, и, уходя, щелкнула выключателем.

И вновь пришла тьма, и пришли сны. И приходили мать, и молодой еще отец, убитый под Вязьмой, приходили старшие братья, – Гришка, увечный, без ноги, да Пашка, родившийся дурачком, безобидный, щербатый Пашка, первый защитник её, Али. Сестёр было двое, но Алевтина не видела их, они и в жизни не ладили, видимо, решили и к ней, больной не ходить. Под утро, в жидком сером рассвете, пошёл крупный снег, «шалипа», как говорили у них в деревне. Бабе мучительно хотелось пить, а крикнуть она не могла, и только стонала. Снег шёл все чаще, гуще, заволакивая деревню, отчего свет в комнате стал совсем призрачным. Тут-то Алевтина и заметила – на стене, клееной-переклеенной обоями, какое-то свечение. Оно становилось не ярче, но светила уже вся стена. Послышался легкий треск, какой бывает, если пороть ветхую простынь. Алевтина проснулась окончательно и смотрела на стену, не мигая. Из стены вышла Женщина, она была в алом платье, в белом платке на голове и в черном покрывале по плечам. Лицо ее было радостным, кротким, и шла она к Алевтине – так вот, не касаясь пола. Что-то неслышно звякало, но баба не могла разглядеть – что. Женщина, осиянная нимбом, подошла к Алевтине, и жажда исчезла сама собой. Стало прохладно, легко, и мучительные боли вдруг стали отлетать, и Алевтине показалось, что она встает, встает – и идет – за Ней.

– Богородица, – отчетливо сказала Алевтина. – Матерь Божия... прости меня... я ж некрещеная... мамка все говорила – земля окрестит, земля... – на звук Алевтининого голоса прибежала дочь, но увидев блаженную улыбку на мамином лице, все поняла, заорала в голос...

Когда убирали в комнате перед поминками, нашли на полу, под кроватью – странные кружочки – вроде как монетки, но не наши, чудные какие-то. Витька попробовал на зуб, и тут же спрятал в карман.

– ой, Вить, – вздохнула Алевтина дочь, – видать, венцы нижние – никуда! Гля -ко – обои-то треснули!

– подправим летом, видать – угол упал. – ответил Витька и накинул на зеркало черный бабин платок.

СТАСИК И МАРИНКА

Стас тщательно протер чайную ложечку, размешал сахар.

– ну, что ты мне собираешься сообщить? – он уставился Марине в переносицу. Сотовый звонил без умолку, Стас поставил телефон на вибрацию и вопрос повторил. Маринка сглотнула, покраснела, побледнела, открыла рот и закрыла.

– Стасечка, – она пыталась поймать его взгляд, – у нас будет ребенок. Ребеночек. Ну, я того, понимаешь?

Стас перевел взгляд на потолок. За окно. На пол. Пожалел, что бросил курить и снял очки.

– Марин, мы по-моему, договорились сразу? Нет?

– да, – сказала Марина виновато, – мы договорились. Но ведь случилось же?

– случаются, знаешь, кто? – сказал Стасик, – думать должна была.

– а ты?

– я думал! – твердо сказал Стасик, вспоминая неприятный разговор с мамой. Маме Маринка не понравилась. Мама кричала, что они с отцом на его университет вкалывали и карьера ему светит – ого!, и вот марин таких там пучками будет, а эта сядет на шею. и хомут еще повесит... и пусть он, Стас, на них с отцом тогда не рассчитывает. И по всему видно, что она хваткая, наглая, и самое место ей... тут даже Стасик покраснел. – Марин, давай не будем, а? Я все оплачу, сколько надо, и потом... мы же это... в Испанию в августе собирались, куда с этим-то ... – он замялся, – давай потом, что ли? – твердо зная, что «потом» уже никогда не будет.

– нет, Стас. – Маринка сжалась, – нет. Я не дам. Нет. Я хочу ребенка.

Стас замолчал. Молчал он по дороге к машине, молчал в машине, молчал в пробке, с ненавистью глядя на Маринку, которую мутило. Молчал в лифте. Дома он сказал

– все, ок. Пусть будет. Если ты так хочешь. Только давай так – я пока тут ремонтом займусь, туда-сюда, проект возьму еще один. Ну, деньги ж надо, так? А ты это – к бабуле пока. Ну, в деревню. Там воздух, типа молоко, чего тебе тут, в городе, так? Я приезжать буду на выходные. Ну, нормально так, а?

Марина собирала вещи, аккуратно укладывая их стопочкой в сумку, заодно переглядила стасиковы офисные рубашки, налепила ему пельменей – полную морозилку, забила шкафы всем, что Стасик любит – от макарон до шоколадок, и отбыла. На поезде. Стасику везти ее в такую глушь было некогда.

Баба Валя встретила Маринку скупно. Нерадостно.

– и чего приперлась? – спросила баба, – погнал тебя твой? Поди, тяжолая? Конечно, вся жизнь так, в повтор идет. Что мамка твоя с города сбегла, что ты на мою шею. Нет мне в старости утешения...

Маринка плакала навзрыд, уткнувшись в бабин фартук, подвывала от горестной своей судьбы. Баба гладила ее по крашеным волосам, приговаривала-припевала детскую колыбельную маринкину песенку «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке, с-и-и-зый се-е-е-лезень плывеет...» Когда Маринка утихла, баба помогла ей лечь на высокую кровать с крахмальными подзорами, в гостевой зале, сама укрыла ее перинкой, и, переваливаясь, как утица, вышла в летнюю кухню. Долго сидела, облокотясь о стол, смотрела на кошку Таську, дрыхнувшую у собачьей будки, и вздыхала.

Два месяца деньги от Стасика приходили на карточку исправно – раз в неделю. На третий месяц не пришло ничего. Сотовый не отвечал, а потом уж и вовсе забубнил одно «неправильно набран номер...». Маринка окрепла, пила молоко, холодное, из погреба, высоко запрокидывая голову, отчего белые струйки сбежали по шее. Ходила с бабой в малину, полола огород, солила

первые тоненькие огурчики и хрупала ими жадно, не дожидаясь, пока просолятся. По молчаливому уговору они с бабушкой ни словом не перекинулись об отце того, кто уже давал о себе знать особой, приятной, томящей тяжестью и тогда Маринка плакала от гордости за себя.

Рожала она в районе, в начале февраля, в самую стужу. В старом роддоме дуло во все щели, а по ночам под кроватями ходили мыши. Маринка родила девчонку, смуглокожую, длинную, с невероятно тонкими пальцами и изящными ступнями. Принцесса прям какая, сказала акушерка, до чего ж ладная народилась-то! Девочку назвали Глафирой. К ужасу бабушки и полному восторгу Маринки.

– тьфу еще, – говорила бабка, развертывая кулек, перехваченный розовыми лентами, – какое-то прям имя допотопное! Нет, чтобы. по-городскому, хоша бы и Викторией, или Снежаной...

Глаша щурила голубые глаза и засыпала на маринкиной груди. Молока было – вдоволь.

ЛЕТО

девушка лежит на голубом пикейном одеяльце, давно севшим от стирок и с дырой, прожженной утюгом. Сначала она следит за лошадьё, пасущейся за забором. Лошади жарко, её одолевают оводы, она машет хвостом, пытаясь отогнать их, резко прядает ушами, трясет головой – но без толку. Тогда лошадь тяжело падает на спину, подогнув ноги, и начинает валяться в траве, блаженно фыркая, и за забором видны только её копыта, давно не знавшие подков.

Девушка переворачивается на спину, и смотрит в небо, складывая облака, как буквы – в слоги. «Вот идет Антилопа Гну, за нею Бык, за Быком – Волк...» Облака меняют форму, сливаются в одно большое, от которого, как детки от осьминога, отделяются маленькие, толстые облачата. Глаза слипаются, клонит в сон, день душный, напоенный той особой июньской благодатью, когда еще лето не наступило окончательно и даже цветет по садам сирень и трещат соловьи ночью.

Лошадь поднимается на ноги, слышно, как он громко хрустит траву, звенит цепью и тихо ржет, заметив издали идущего к ней конюха.

Девушка снова переворачивается на живот и выкладывает из травинки имя того, кто сейчас сидит под кондиционером в московском офисе и думает о том, что неплохо было бы выпить холодного пива.

ДОХА

Подруга швырнула на стол шубу.

– Бери! – как выстрелила. – Бери! Отдаю за копейки! Новая почти! Даром отдаю... Тебе твой муж никогда не купит! Это же такой мех... а ты – принцесса! Не, королевшна (с)

Я, млея и вождедея —

– а как же ты?

– Прохожу как-нибудь... правда, второй год в одной и той же придется, ну, для хорошего человека что не сделаешь? Носи! И благодари!

Развернув доху, я стала нюхать ее, как охотничья собака. Шуба пахла зверем. И незнакомым, и опасным. Цвет ее был темен, а прошлое – мрачным. Но это был мех! Муж сказал, что это вухухоль, подстреленная еще генералом Купропаткиным до 1 Мировой... Он, увидав доху, посоветовал сразу же избавиться от нее, дабы на запах не сбежались все дворовые псы. Я гордо отказалась. Я владела шубой! Я была одна из них – из тех, кто в мехах... Из-за отказа мужа появляться рядом в людных местах, шуба гуляла со мной вечером. Наш пес к ней привык и шерсть у него перестала вставать дыбом. Хотя писать на нее он продолжал...

Весной нам с шубой и мужем пришлось встретиться в какой-то конторе. Я, сидя за столом, подписывала бумаги, а муж делал вид, что не знаком со мной. Вдруг нотариус ойкнула.

– Дама! (это мне), у Вас... у шубы... рукав... отвалился...

Я резко повернулась, подняла руку, и обнаружила, что отпал и второй... Тут же, как в фильмах ужасов, доха начала расставаться с подкладкой и рассыпаться просто на глазах! От шубы отпадали куски, падали на пол пуговицы. Муж, обхватив мою верхнюю часть, дабы избежать дальнейшего позора, вытолкал меня из кабинета. Домой я ехала в меховой юбочке и тряпичной кофточке. Тем же вечером останки дохи легли в ноги консержки.

Через пару недель подруга перезвонила

– Ты знаешь, все же я тебе ее не подарю. Ну, пока не подарю. Я сама в ней еще похожу, такой редкий мех...

– Не походишь, – ответила я грустно, – ее моль унесла. Причем всю...

НАСТЯ

Настя была красивая, тихая и умная. Странное сочетание этих качеств привело к тому, что к 38 годам она еще не была замужем, хотя раз в год честно делала попытку воспользоваться хотя одним бы из этих качеств. Мужики пугались и растворялись в тусклом свете подъезда. Настя вздыхала, собирала в пакет следы чужой уже жизни – пену для бритья, непарные носки, сигаретные пачки, модель парусника, таблетки Алкозельцер... все это летело в трубу, пугая крыс и ожесточая дворников.

Скучно жилось. А тут подруга попросила довести её до деревни, где она снимала детям дом с бабкой. У подруги были дети от разных мужей, но все лицом в нее, в Верку. Белобрысые, с пунцовыми щечками и ужасно громкие. Бабка была ничейная и противная, но у бабки была коза, а дети всегда кашляли.

Ехали они черт-те знает куда. Просто край жизни. Сначала шло Подмоскovie, ставшее Москвой, потом была дорога меж городков – там не было ни жителей, ни коров – вообще ничего. Настя, бывавшая только в Европе и в Санкт-Петербурге, изумилась до того, что поставила свою Kia Ceed на обочину и шагнула в теплую хвою, и пошла, трогая кору молодых сосенок и задирая лицо к солнцу. Выйдя на поле, она села в траву и заплакала. От счастья.

– блин! – кричала из машины Верка, – блин! Че сидишь? Нам еще ехать столько, сколько им памперсов не хватит! Нашла место! В Бирюльках будешь сидеть!

Потом из машины выпалились дети – младшая – в памперсах, сидела тихо, озадаченная процессом. Старшая и средний тут же потеряли кроссовки, сели в крапиву, наступили на осколок бутылки, обоих стошнило, и от комариных укусов расплзлись неравномерные алые пятна.

– вот! вот! – Верка металась между машиной и детьми, – доверь тебе! Малахольная ты, Настасья... кто, видя тебя, решится на шаг? Ну, или на два? Нет, делать детей они будут, но вот конечный процесс...

Настя слушала затылком жизнь сосны. В сосне двигались молодые и жаркие соки, выступала смола на месте обломанной ветки, и шли муравьи шеренгой.

ИРЭН

Папа её был летчиком. Нет-нет, летчиком, да еще на международных авиалиниях. А мама преподавала начерталку в Бауманском. И читала «Сагу о Форсайтах». Поэтому девочку назвали Ирэн. Для красоты жизни и торжественности судьбы. Потому как сам брак папы-летчика с тещею и малосимпатичной мамой не вызывал даже зависти у соседок. Папа, прилетая из крошечного на карте Токио, стыдливо передавал Ирэн у школы зарубежные сумки, полные невиданных в СССР предметов – прозрачных зонтиков с раскосыми гейшами, наборов фломастеров в 56 цветов и целых блоков жевательной резинки. Ничего не помогало. Не помогали и уроки музыки на Кутузовском, ни одуряющее повторение полонеза Огинского и даже модные обои в цвет переспелой малины. Мама, изведя студизусов начерталкой, наливала забродивший компот из дачной малины в графины, покрытые изнутри нежной зеленой плесенью, и подавала к столу оливье с докторской колбасой и дефицитную салями. Никто не дружил с Ирэн. Сама же она во всем винила свои торчащие, как ручки сахарницы ушки, и те косметические дефекты, которые так мучают девушек в период их превращения в женщин.

Только на даче в Малаховке, сложенной из пропитанных креозотом бревен, Ирэн расцветала. Заполучив школьную подружку на лето, она играла с ней в бадминтон, кокетливо отправляя волан на соседний участок, где сосед студент пытался превратить сусло для кваса в самогон. В лето окончания школы волан залетел удачно, запутавшись в сосновых ветках. Сама Ирэн забеременела, расписали их быстро – недаром дедушка-владелец дачи имел связи еще с НКВД, которому отдал суровые годы жизни. Ирэн родила бледную девочку с оттопыренными ушками, и длинного мальчика, безучастного ко всему, кроме материнского молока.

Муж Ирэн, научившись добывать водку из денег, спился и умер. Забор к этому времени пал окончательно, заросли малины сплелись над двумя дощатыми сортирами, и участки объединили.

Списанный папа летчик вернулся в тихую сень начертательной геометрии, а малиновый компот перестали закатывать в банки, предпочитая варить варенье.

Ирэн постарела, стала носить шапочку, прикрывавшую оттопыренные ушки и, безучастная ко всему, все наигрывала полонез Огинского, будто прощаясь.

СТИВИДОР

Вита попала в Москву из Курска. В Курск – из бывшей советской республики, где безмятежное детство прошло в военном городке, где абрикосы падали в арык, а босоногие мальчишки загоняли ревущую овечью отару по пыльной, глубокой, как канал, улочке. Все счастье кончилось из-за того, что взрослые мужики, не думающие о Вите, подписали какие-то бумаги, и страна СССР канула в Лету. Выбирались из военного городка трудно, продавая все за бесценок, спасибо – приютила тетка, живущая в Рышково. Толкаться семьей в двушке было жестоко, и Вита уехала в столицу поездом Харьков-Москва.

Вита была сложения крупного, характера нордического, говорила с сильным акцентом, выдавшим в ней южанку. Любила свободу, но научилась у восточных женщин – подчиняться мужчине. Никаких особых притязаний покорить Москву – у нее не было. Нужен был угол, работа, и, в перспективе – семья. Образования она была швейного. Швея-мотористка. А на деле – белошвейка, рукодельница редкая. Но отсутствие фантазии и необходимой в этом деле дерзости не дали ей стать модельером и создать что-то свое. Отвергнув предложения (а их было много!), она пошла работать швеей в депутатское ателье, и не прогадала. Нехитрая работа – подшить, ушить, укоротить манжеты, «посадить на фигуру» дорогой импортный костюм приносила солидные деньги. Да и мужики были серьезные, а не подпольный цех! Восхитило ее, как одному чиновнику крупному пальто аж с мигалками везли, да еще её – в отдельной машине с иглками-нитками.

А с Ленькой она в метро познакомилась. Он уснул у нее на плече, так она с ним по кольцу и каталась. Поженились летом, скромно, и стали жить в Бирюлево, где только-только Ленькина мама с отчимом и с сестренкой получили, наконец, трешку. Ну, свекровь Виту сразу полюбила, как родную. Золовка, ровесница Виты – тоже. Как же! Она им, как Золушка, строчила целыми днями. От занавесок до пиджаков. От сумочек до легких плащей... Пока на кухне не сталкивались, жизнь шла удачно. Даже собаку как-то свекр принес. Из питомника. Немецкую овчарку. Племенной брак. Бесплатно, стало быть. Назвали Стивидором. Или – Стивой. Пёс маханул через все габариты – вырос просто огромным. Злой, умный, сдержанный. Долго изучал семью, а хозяйкой выбрал её, – Виту. В Средней Азии овчарок не было ни у кого, а с алабаями особо не погуляешь, а тут – Стива без Виты даже не ел. Всех любил, всю семью считал стаей. Позволял играть, трепать за ухом, даже на прививки водить. Но Виту... знал, что она сутки через трое работает. Ждал – носом в дверь. Не скулил, не лаял – дышал и ждал. Ходил рядом – без намордника. А как-то стал вдруг порывивать на любого, кто в метре покажется. Щерился. Прижимался к Вите и такая в глазах ярость была – обходили стороной. А ей, наоборот – все из миски носил. То косточки, то яйцо как-то принес. Тут она и поняла – беременна. И Стива давно уж знал. Как уж он ее охранял – Леньку не подпускал! Спал у них под дверью. Как сын родился, Стива ему нянькой стал. Вита уйдет – Ромка спит. Проснется – Стива рядом. Так и привык. С молочной кухни в зубах сумку с бутылочками носил. Как Ромка подрос – катался на Стиве верхом. Пасть мог ему открыть, мячик отнять – гости в обмороке, Вита смеется. лучшей няньки не найти, что ты!

А как сын в школу пошел – тесно стало. Тут уж свекровь с золовкой на войну пошли. А Вита – что? С работы придет, свистнет Стиву, Ромку в коляску – и бродить чуть не до ночи. С Ленькой уж у них какая жизнь то была? Втроем, в комнатухе? Так уж, символически. Они и на кухню не ходили – Ленька в компьютер, Вита – за машинку, Ромка – за конструктор. А посередине – Стива.

Беда в мае случилось. Жара была, клещ в Москве вылез аж на газоны у дома. И пошло-поехало. Капельницы, уколы... Осложнения... Она такие ему капли покупала – от клеща-то, дороже туфель! А все одно – хватал чуть не каждый год... И всякий раз Стиву с того света

вытаскивали. Вита сама его на себе таскала – не давался никому. Страдал. А уж и возраст подошел у Стивы – 12 лет. От перенесенной болезни едва ходил, мука смотреть была. Заикнулись было – усыпить, мол. Не дала. Последнюю неделю она на ковре с ним спала. Так и умер у нее на руках.

И от пустоты этой страшной, от тоски своей и боли – она едва не выла сама. А когда вынесла на двор сумку со Стивиными поводком да ошейником, вернулась в квартиру, собрала свои да Ромкины вещи, и ушла.

Кто говорит, в Курск вернулась, а кто говорит – замуж вышла. Не знаю. Знаю одно – любила она его. Сильно.

ПУСТЫРЬ

Они выходят вечером из тускло освещенного подъезда – мужчина и его собака. Оба немолды – мужчина идет тяжело, часто останавливается. Собака идет рядом, не отходя от хозяина, и все время поднимает седоватую морду вверх – смотрит на него. Они доходят до пустыря, на котором идет стройка, и садятся на скамейку детской площадки. Самой площадки уже нет, песочница развалилась, а деревянный домик, загаженный внутри, покосился, потерял дверь, резной смешной конек – и вот-вот рухнет сам. Мужчина смотрит на ровную площадку, раскатанную бульдозером, и курит. Собака ложится у его ног, кладет голову на лапы и дремлет. Мужчина смотрит – и видит дом, который стоял здесь еще год назад, неуютный снаружи, с балконами, застекленными кое-как, полными всякой домашней рухляди, видит деревья, выросшие почти до крыши. Дом простоял здесь всего полвека, мужчина жил с ним почти с самого рождения, сюда он привел жену, отсюда увез мать в больницу, отсюда ушел отец к другой женщине, отсюда провожали в армию сына... Мужчина находит в вечернем небе квадрат несуществующего окна несуществующей кухни и вглядывается в него, щуря глаза. Он видит семью, сидящую за столом, себя, вскочившего на звук телефонного звонка, он слышит плач ребенка, и тихое, монотонное «баю-бай» жены...

Собака поднимает голову, ее глаза слезятся от старости, но и она – видит знакомую когда-то дверь и лестницу, ведущую на пятый этаж.

ФОКС

они брели между домов, ноябрь словно бы мстил за теплую осень, и теперь снег мешался с дождем и делал жизнь совсем невыносимой. Старый Митин пес трусил совсем рядом, боялся отстать и потеряться, а еще хуже – упасть в какую-нибудь траншею. На той неделе Маша с Митей так долго целовались в подъезде, что забыли Рея на улице, а он, подслеповатый, решил вернуться домой и упал в яму. И долго шел в полной темноте, от страха и отчаяния не ощущая никаких запахов, кроме мерзкой технической вони кабелей и человеческих нечистот. Когда он совсем устал, выбился из сил и лег – не разбирая, просто лег на глину, в воду и завыл от ужаса и тоски – его, лежащего, выхватил конус света от фонарика. Какой-то мужчина, судя по запаху, хозяин собаки-девочки, впрыгнул в канаву и вытащил Рея. Рей дрожал мелко и жалко.

– ого! – сказал мужчина, – прекрасный фокс! – он погладил его по голове, чего Рей не стерпел бы никогда раньше! почесал за ушком и сказал – пойдём со мной, дружок. А завтра будем искать твоих хозяев... – и вздохнул. Рей шел без поводка, семеня, спотыкался о валявшиеся всюду обломки кирпичей, но нюх верно вел его за спасителем.

Дома мужчина вытер Рею лапы, и смазал подушечки чем-то терпким, от чего сначала зашипало, а потом стало совсем хорошо. Рей деликатно отказывался от овсянки с мясом, но молока вылакал целую миску. Потом, усевшись, съел и кашу. У незнакомца дома жила красавица колли, она вышла, обнюхала Рея, который с готовностью подставил то место за ухом, которое не дают никому. Колли обошла Рея со всех сторон, задела его хвостом и удалилась в комнату, цокая коготками. Рей нашел подстилку, свернулся клубком, и тут же провалился в сон.

Все последующие дни мужчина гулял сначала с колли, а потом, пристегнув поводок, ходил по улицам, и расклеивал объявления «Найден фокстерьер, окрас..возраст... приметы». Но никто не звонил, и Рей понимал, что его списали давно за старостью и страшно тяготился гостеприимством. Он хотел даже улизнуть и самому пойти искать дом – но бензинная вонь давно уничтожила все следы...

В это же время, но в другом квартале, не спали ни Маша, ни Дима, ни Димины родители. Объявления «Пропал фокс... окрас... возраст» клеили везде, даже на «сплетнице» афише кинотеатров. Дима ругал себя, ссорился с Машей, выходил бродить один ночью, представляя себе самые страшные картины – что Рея сбила машина, или его увезли живодеры. Он обзвонил все приюты и ветеринарки – Рея не было нигде.

Солнечным декабрьским днем, когда, наконец, засыпали котлован, мужчина решил прогуляться с Реем к лесопарку, чтобы как-то поднять его настроение. Маша и Дима, в это же время, решили просто пойти погулять – без цели, и шли молча, потому что искать дальше не имело смысла. Когда они встретились все, вчетвером, на детской площадке и Рей завыл от восторга и все тыкался в Митины колени, и даже задыхался от счастья, мужчина, положив поводок, развернулся и пошел к дому. Он оглянулся только раз – но Рей вылизывал любимое Митино лицо, которое было ужасно невкусным и соленым.

СЕТТЕР

Когда ты – маленькая, Новый год для тебя – сказка. Все твои книжки с картинками, все мультфильмы и фильмы – все убеждает тебя в том, что едет Дед Мороз на санях, запряженных северными оленями... и звенят колокольчики, и всем детям, которые себя вели хорошо, он дарит подарки. Но взрослые такие скучные! Они всегда дарили книжки, теплые кусачие варежки, куклу – но не ту, которую ты хотела... А уж если ты хочешь собаку – можешь и не надеяться. Старшей сестре было лучше – ей дарили совсем взрослые подарки, даже духи. За ней уже всерьез ухаживали сокурсники и даже аспирант. Сестра целыми днями говорила по телефону, обсуждая, где и в чем она будет справлять Новый год. У нее были интересные компании и ездили они то в Ленинград, то в Таллинн. Я же оставалась с папой, мамой и бабушкой. Так случилось и в тот раз. Сестра расцеловала всех нас по очереди, сказала, что подарки под елочкой и умчалась на вокзал. Мы расселись у праздничного стола, но я все поглядывала под елку, стоящую в углу комнаты – не шевелится ли там кто-то? Не подарят ли мне щеночка? Но нет. Сбегали по ветвям разноцветные огоньки, в тусклом серебре шариков отражалась комната, и огромная звезда сияла под потолком. Только стало бить двенадцать, раздался звонок в дверь. Мы переглянулись – гостей не ждали, решили – что-то кто-то ошибся дверью. Папа пошел открывать. На пороге стоял продрогший молодой человек, и у него был такой жалобный вид, что папа позвал его к столу. Тот все стеснялся, объяснил, что моя сестра пригласила его в гости и, наверное, что-то просто перепутала. Папа с мамой буквально силой тащили его в комнату, а он все придерживал куртку на груди. И тут ...на полу показалась лужица. Молодой человек страшно покраснел и рванулся назад, к двери. И только бабушке он позволил расстегнуть куртку и вытащить оттуда чудесного, потрясающего ...щенка сеттера. Рыжевато-шоколадный, с огромными карими глазами, ресницами длинными и пушистыми, с виноватой мордашкой... совсем крошка... Тут же все пришло в движение, щеночка поили теплым молоком, молодого человека уже усадили к столу, и полетела вверх пробка из Шампанского. Этот человек и стал моим мужем. А ирландский сеттер прожил с нами длинную и счастливую собачью жизнь. Так что – чудеса случаются, даже с теми, кто не слушает родителей и получил двойку...

КОТЁНОК

– я на тебе женюсь, – сказал Валерик, – но запомни – футбол, баня и никаких кошек в доме! Иначе сразу – в глаз, и уйду к маме. К своей!

Инна кивала быстро-быстро, и прикидывала, сколько занять на свадьбу. Мать её съехала к бабке, оставив молодым прочный еще дом в пригороде, и жизнь пошла своим чередом. Инна стригла, укладывала, мыла головы и собирала сплетни в салоне красоты, Валерик устроился в Городе – охранником в супермаркет. Футбол с баней сочетался, котов на горизонте не было.

Как-то городская дачница, уезжая, стыдливо сунула Инке коробку —

– ой, Инночка, может быть, Ваш муж утопит? У нас просто руки не поднимутся! А наша девочка породистая, а вот – нагуляла.

Инна приняла в карман халата пятисотенную, и принесла коробку домой. Валерик, хрустя чипсами, пил пиво и орал «Оле-оле-оле!» В такие минуты его трогать было опасно. На веранде Инна пристроила коробку под шаткий столик, открыла крышку, и встретила глазами с котенком. Глаза эти, огромные, раскосые, были цвета мартовского неба. Котенок был уже почти месячный. Расцветка чудноватая – где рябенький, где в полосочку, лапы несоразмерно длинные и сам тощий какой-то. Котёнок мяукнул и попытался подняться.

– ой! – сказала Инна, – ты какой прям страшненький! Не кот, а труба на ножках...

Котёнок вцепился передними лапками за край коробки и мяукнул. Он даже и это делал, не так, как простые коты, у него выходило так —

– мяяя... мяяяя... уууу... мрррр ...мммяяя... аааа...

– блин, – сказала себе Инна, вынимая котенка, – блин и блин! вот че они? наигрались, пока он не вырос! а теперь – давай, Инка, топи, бери грех на душу! Как такого утопить... даже у Валерки рука не подымется... Вот, гады... – Инна прислушалась – в зале еще гроыхал телевизор, футбол жил. Засунув Длинного за пазуху, Инка вышла во двор, и в сумерках добежала до бабкиного дома. Мама с бабушкой пили чай с ликером.

– пожаловала, – растянула мать, – здрастье, приехали! Уже выгнал?

– мам, да ладно тебе, – Инна вытащила котенка и поставила его на диван, – гля-ко, красивый, да?

– убери ты эту пакость шелудивую, – запричитала бабушка, – мало у меня своих трех, опять мне тащит! Исть самой неча, а она все тащит и тащит!

– ба, да ладно – время поджимало и кота нужно было пристроить, – ну на ночь возьми, а? Я тебе химию завтра сделаю?

– ну ты ... – бабушка еще колебалась, но мать, с которой у Инки с детства были контры, запричитала, – вот те совести нет! вот что батька твой прохвост! вот те в душу прям лезет и лезет! Изведет на жалость... Вон, Чубарихе подкинь, у ней полный двор, а нам с мамкой самим еле на молоко...

Недослушав, Инна опять схватила кота, который, устав, уже улегся на диван, и помчалась в салон.

В салоне было пусто, маникюрша Валя грустно водила пилочкой по своему ногтю. Из телевизора неслась жалобная девичья песня о неразделенной любви. Напротив Вальки сидел Николай Семёныч, отставник и зануда.

– Валь, – Инна опять достала котенка. Тот жмурил глазки и, казалось, падал от усталости. – Валь, смотри, какой! Тебе не надо?

– ой, Инуся... – Валя взболтала пузырек с лаком, – мне замуж надо, а с котами нынче не берут, – тут Валя скосила глаз на отставного майора.

– это у вас, девушки, кот красивой породистости, – Николай Семёныч служил в ЗГВ еще при СССР, – я непременно таких в Германии видел. Очень породистость эта много денег

стоит. Как при нынешнем режиме в еврах, не скажу, но тыщ десять рублями – факт. Это... – отставник напрягся до багровости шеи, – ориентир! Вот! Такой дорогой вам выпал экземпляр. Продайте его на станции, мужу дорогой телефон купите, вот.

– Валь, – Инка почесала котенка между ушками, – тебе как раз под цвет гарнитура твоего, не?

– не, ну Инка, – заныла Валька и замахала в воздухе руками, суша лак, – ну, блин куда? У него еще такие уши, прям заяц... не, я персов люблю... чтобы вот такие были – Валька сморщила нос, прижав к нему палец, – а этот какой-то унылый... и подерет всё на фиг? – Обожди, – Валька кивнула на подоконник, – на вон, молока ему налей, у меня утрешнее, со станции.

Котенок лакал молоко так, что жалость взяла Инку за горло. Котенок лакал и всхлипывал, и пузичко у него раздулось шаром.

– все, дамы, – отставник отодвинул кота от мисочки, – нельзя больше. А то либо лопнет, либо тут, – он огляделся, – обделает вам весь салон. А как? Были таки случАи... с голодухи оно...

Встречая проходящие из Москвы поздние электрички, Инна заглядывала в глаза добрым на вид теткам и предлагала котика породы «ориентир» «забесплатно».

– у нас, знаете, – Инна лепетала, – аллергия у ребеночка, а тут такое дело...

– а кошку-мать куда дела? – спросил смешной парень с дредами, – утопила, поди???

– да нет... – Инна поняла, что завралась и расстроилась окончательно. Котенок спал, и пахло от него молоком и кошкой-мамой. – ну некуда, поймите! и породистый, ориентирный... вот... задарма!

– это, лапа моя, – парень почесал котенка под подбородком, – порода и впрямь редкая – ориентальная кошка, редкого, мраморного окраса. Но папаша, судя по всему, местный наш... не возьму, прости – снимаю сам квартиру. Да ты оставь – чудо ведь, а не котенок! Смотри – уши какие! И назови его... – у парня зазвонил сотовый, – Боб! В честь Боба Марли!

Когда совсем стемнело, Инка вернулась домой, вымотанная сильнее, чем после целого дня на ногах в салоне. Валерик спал на диване, и чипсы падали на палас.

– ну, не свинство! – сказала сама себе Инка и ушла на кухню. Уложив котенка в грибную корзинку, она села рядом и стала смотреть в окно, где начавшийся дождь, пролетая мимо уличного фонаря, окрашивался в желтый цвет. Ей стало так жалко себя, котенка, Валерика и даже бабку с матерью, что она заплакала. Котенок, будто почувствовав, выкарабкался из своей корзинки и попытался залезть на Инкину ногу, отчаянно мяукая.

– эх ты, заяц мой. – Инна подняла его себе на колени, – и вот, как эта тетка себе думала, – утопить!? Это ж надо придумать такое! – Надя уже забыла о пятисотрублевой купюре в кармане. – я тебя Стасиком назову. В честь Михайлова. А Валерка пусть чешет со своим футболом к мамане. Никакой от него радости, муж называется...

Ночь котенок Стасик проспал в корзинке, а утром Валерка, проспавший электричку, и слона дома бы не заметил. Инна, зевая, метала на стол бутерброды и изредка поглядывала в угол кухни.

А в тот же утро, в городской квартире, мама утешала рыдающего сына —

– Никол, ну не реви! – шестилетний Николка, не найдя котенка после переезда с дачи, зашелся таким плачем, что отвлечь или успокоить его было невозможно, – ну, послушай! Котенок теперь живет у хороших людей, у них не было котеночка, а теперь будет! Там тоже живет маленький мальчик... – мама вдохновенно врала, и вот уже деревенский мальчик оказался больным и спасти его мог только котенок... но все было тщетно – мама! – Николка уже орал, – отдай моего Ван Гога, мама, я сейчас лягу и умру от горя! Мама... ты гадкая... я тебя ненавижу!!! я уйду от тебя!!!

Муж, пытавшийся говорить с клиентом по скайпу, отошел от компьютера и сказал на ухо жене —

– ты до чего сына довела! Езжай теперь, возвращай Ван Гога! Ты видишь – у него истерика! Сердца у тебя нет... Смотри, что с Дездемоной делается! – кошка ходила по дому, мяукала, и носила в зубах подстилку, на которой она родила котенка, названного Ван Гогом – просто так, за то, что у него такие уши...

днём, разыскав Надин дом, мама с мальчиком постучали в дверь.

– девушка, милая, – мама держала теплую Николкину ладошку, Вы нас простите, а можно мы котика заберем? Вы ведь ... – мама сглотнула, – не...? нет? или мы опоздали...

Надя посмотрела на бледного, худенького мальчишку, и вынесла корзинку с котенком, – на, вот... нашелся твой кот.

– спасибо, ой, спасибо, – мама взяла корзинку, – Вы поймите...

– ага, – сказала Надя, – аллергия... и сунула пятисотку в корзинку с Ван Гогом.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

ТОРОПЕЦ

удивительный мой, маленький мой Торопец! Драгоценный мой городок... Всего-то – старая часть твоя небольшая, зато каждый дом – праздник, каждый дом – чудо. Купеческий, крепкий городок. Даже каменные наличники сработаны почти одной рукой – схожи между собой, что объединяет дома в разных концах города – в ансамбль. А до чего хороши кирпичные, начала века! Складские, торговые! Такое удовольствие – ходить себе неспешно, смотреть на печные трубы, на полу-колонны, на мансардные окна... в палисадниках сейчас все цветет, едут неспешно тетушки с рынка – на велосипедах, детишки идут в садик – летний лагерь. Все время слышу – конкурс-конкурс, что-то происходит интересное!

Да, нет денег поддержать все это, и город постепенно умирает. Но достойно! Слава Богу, нет градоначальника, который бы снес все безжалостно и натыкал вставных «зубов», так – ветшает центр, но растут дома на окраине города, и дома не бедные, кирпичные, за железными уже – заборами.

Президент наш советует туризмом жить... а что остается, если от всей торопецкой промышленности шиш остался? Только вот – краеведческий музей, поместившийся в удивительной красоты церкви – с прохудившейся крышей...

Но живем пока. 22 августа будет День города. Уже асфальт накатили по Советской (б. Миллионной)...

НА БАЗАРЕ

приветлив, но малолюдн Торопец зимним утром. В розовое небо выстреливают печные дымки, солнце протирает ладошкой заспанные окошки, умываются кошки, сидя на подоконниках среди горшков с геранью, и крашенных гипсовых статуэток. Лают одинокие псы, созывая друзей к рынку, где может и корочка хлеба попасть, а то и свиная обрезь, брошенная щедрой рукой, возмутит покой стаи.

В 9 утра открываются базарные ряды – в сегодняшний мороз только особо закаленные бабушки стоят с носками да пучками кошачьей лапки. Молоко в бутылках мерзнет у молочниц, и те греют его за пазухой. К ларькам подвезли свежий хлеб из Плоскошинской пекарни, и за фургоном тянется шлейф сытных и сдобных запахов.

Бончарово разложило свои шарики из масла, домашние колбасы и подовый хлеб. Веселит глаз ряд бутылочек – тут тебе и йогурт, и ряженка, и кефир – все с фермы!

На рынке, в «деревянных» рядах царит торговый дом из Беларуси – хозяин – Вова, которого и в глаза зовут Валуевым – за очевидное сходство и огромный рост. Он выхватывает ловкими пальцами кружки сыров, колясочки колбас, отрезает в воздухе грудинку и нежнейшее сало, вылавливает бледных от смущения нагих кур. Его теща Анна, мама жены, восседает на табурете, и ведет счет покупкам. Они работают в тандеме много лет, и их просто обожают в Торопце.

– ну и что Вас не было долго? – спрашивает меня теща «Валуева».

– да вот, – печалюсь я, – все на базарные дни не случилось.

– а жаль... – в ее огромных глазах живет печаль, как у всякого, кто понимает толк в еде, – Вы потеряли две недели за вкусно поесть!

– но я еду в Витебск, – парирую я.

– это Вам повезло, как никому! Вы чтобы знали, что это Витебск! Это – город! Вы там будете есть так, что уже не приедете сюда. Или возьмите с собой оттуда.

– в санаторий еду, – хвастаюсь я.

– в Лётцы?

– да. Там нет бассейна!

– это всё, что Вам нужно! Там такие врачи, и зачем Вам бассейн? Это радость дать своему организму – вот, что я Вам отвечу, – она молчит, выкладывая стопку из шоколадок, – там еще танцы на вечер. Вам нужны танцы – у Вас глаза замужней женщины... а это плохо...

АПТЕКА

аптека «Под самолетом» была коммерческой. Вот и шёл туда, в основном, дачник, мучимый животом или кашлем, а то и вовсе страдающий просто так, без города. Провизор, пылкий юноша с перспективой на столицу, летал, и фалды белого его халата резали воздух. Глянув на меня, он тут же мне подмигнул и зашептал на ухо, предлагая все – от БАДов до зубной щетки. Но я пришла за песочными часами, и хотела только их. Провизор, ощупав меня глазами, сказал – берите! берите-берите! Ничего Вам не надо, кроме этого – бальзам «Тигриная сила». Отечественный продукт. Настойка из тигриного когтя на его же помете.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.